

РУССКИЙ БЫТ

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННОКОВ

XVIII век

ВРЕМЯ ЕКАТЕРИНЫ II

Выпуск 2-й

Сборник отрывков из записок, воспоминаний и писем,

*составленный П. Е. Мельгуновой, К. В. Сивковым
и Н. П. Сидоровым.*



МОСКВА — 1922

Р. В. Ц. Москва. Вх. № 1062.

Колич. экз. 2000.

1-я типография М.С.Н.Х. Арендатор С. Я. Цузмер. Армянский п., 6.

Отдел II-й.

1762—1796 гг.

Предисловие.

Второй выпуск II части „Русского быта“ охватывает те же хронологические рамки, что и первый выпуск—т.-е. время Екатерины II. Технические условия печатания книг в настоящее время не дали возможности включить в него весь материал, относящийся к эпохе Екатерины II. Этот материал будет дан в 3-м выпуске II части. Эти же причины заставили составителей издать этот выпуск по новой орфографии. Это, конечно, лишает печатаемые документы значительной доли того бытового аромата, который они имеют в подлиннике, но составители предпочли выпустить книгу в таком виде, чем не выпускать ее совсем.

Москва, март, 1922 г



Столица и провинция.

ПЕТЕРБУРГ.

Путешественники и составители разных словарей подробно описали дворцы, храмы, каналы и богатые здания этого города, служащего дивным памятником победы, одержанной гениальным человеком над природой. Все описывали красоту Невы, величие ее гранитной набережной, прекрасный вид Кронштадта, унылую прелесть дворца и садов петергофских, наводящих путешественника на грустные мысли. Дорога от Петергофа в Петербург чрезвычайно живописна. Она идет между красивыми дачами и прекрасными садами, где петербургское общество ежедневно проводит короткое лето и в несколько теплых дней забывает о жестокости сурового климата, наслаждаясь постоянною зеленью дерев и лугов, которая на болотистой почве поддерживается до первого снега...

Когда я прибыл в Петербург, в нем под покровом европейского лоска еще видны были следы прежних времен. Среди небольшого, избранного числа образованных и видевших свет людей, ни в чем не уступавших придворным лицам блистательнейших европейских дворов, было не мало таких, в особенности стариков, которые по разговору, наружности, привычкам, невежеству и пустоте своей принадлежали скорее времени бояр, чем царствованию Екатерины.

Но это различие оказывалось только по тщательном наблюдении; во внешности оно не было заметно. С полвека уже все привыкли подражать иностранцам, — одеваться, жить,

меблироваться, есть, встречаться и кланяться, вести себя на бале и на обеде, как Французы, Англичане и Немцы. Все, что касается до обращения и приличий, было перенято превосходно. Женщины ушли далее мужчин на пути совершенствования. В обществе можно было встретить много нарядных дам, девиц, замечательных красотою, говоривших на четырех и пяти языках, умевших играть на разных инструментах и знакомых с творениями известных романистов Франции, Италии и Англии. Между тем мужчины, исключая сотню придворных, каковы, например: Румянцевы, Разумовские, Строгановы, Шуваловы, Воронцовы, Куракины, Голицыны, Долгоруковы и прочие, большею частью были необщительны и молчаливы, важны и холодно вежливы и, повидимому, мало знали о том, что происходило за пределами их отечества. Впрочем, обычаи, введенные Екатериною, придали такую приятность жизни петербургского общества, что изменения, произведенные временем, могли только вести к лучшему. Кроме праздничных дней, обеда, балы и вечера были немногочисленны, но общество в них было непростое и хорошо выбранное; они не были похожи на пышные наши рауты, где царствует скука и беспорядок. Одежда, занятая у французских придворных, была менее покойна, чем фраки, сапоги и круглые шляпы, но она поддерживала приличие, любезность и благородство в обращении. Так как все обедали рано, то время после полудня было посвящено исполнению общественных требований, обычным визитам и съездам в гостинных, где ум и вкус образовывались приятным и разнообразным разговором. Это напоминало мне то веселое время, которое я проводил в парижских гостинных. Но слишком частые и неизбежные празднества не только при дворе, но и в обществе, показались мне слишком пышными и утомительными. Было введено обычаем праздновать дни рождения и именин всякого знакомого лица, и не явиться с поздравлением в такой день—было бы невежливо. В эти дни никого не приглашали, но принимали всех, и все знакомые съезжались. Можно себе представить, чего стоило русским барам соблюдение этого обычая; им безпрестанно приходилось устраивать пиры.

Другого рода роскошь, обременительная для дворян и грозящая им разорением, если они не образумятся, это—многочисленная прислуга их. Дворовые люди, взятые из крестьян, считают господскую службу за честь и милость; они почитали бы себя наказанными и разжалованными, если бы их возвратили в деревню. Эти люди вступают между собою в браки и размножаются до такой степени, что нередко встречаешь помещика, у которого 400 и до 500 человек дворовых всех возрастов, обоих полов, и всех их он считает долгом держать при себе, хоть и не может занять их всех работою. Не менее того удивил меня другой обычай, введенный тщеславием: лица, чином выше полковника, должны были ездить в карете в четыре или пять лошадей, смотря по чину, с длиннобородым кучером и двумя форрейторами. Когда я в первый раз выехал таким образом с визитом к одной даме, жившей в соседнем доме, то мой форрейтор уже был под ее воротами, а моя карета еще на моем дворе!

Зимою снимают с карет колеса и заменяют их полозьями. Зимний санный путь по гладким, широким улицам всегда прекрасен, — так ровен и тверд, как будто убит мельчайшим песком; ничто не может сравниться с быстротой, с которою едешь; или лучше сказать, катишься по улицам этого прекрасного города...

Граф Л. Сегюр.

В ПЕТЕРБУРГЕ.

„По дороге уже“, говорит она¹⁾, „можно было составить себе выгодное понятие и о самом городе, потому что по обеим сторонам тянулись ряды прелестных дач, окруженных самыми затейливыми садами в английском вкусе. Чтобы разбить эти сады, владельцы дач воспользовались землею весьма болотистою, осушили ее, прорыв каналы, и перекинули через них мостики, а также украсили сады беседками. Но к несчастью, страшная вечерняя сырость совершенно убивает эту

¹⁾ Т.-е. автор воспоминаний (сост.).

восхитительную местность; даже прежде заката солнца, по дороге подымается такой сильный туман, что кажется, будто все окружено густым, почти черным дымом. Как я ни старалась вообразить себе великолепие Петербурга, я была совершенно очарована его зданиями, красивыми палатами, широкими улицами, из которых одна, называемая проспектом, тянется на протяжении целого лье. Красавица Нева, светлая, прозрачная, протекает через город и вся покрыта различными судами, которые беспрерывно приходят и уходят, и тем удивительно оживляют этот красивый город. Набережная Невы—гранитная, равно как и многих больших каналов, которые прорыты Екатериною II внутри города. По одну сторону реки находятся прекрасные здания академии художеств, академии наук и многие другие, которые отражаются в Неве. Мне сказывали, что нет ничего прелестнее зрелища этих построек при лунном освещении—все они кажутся как бы древними храмами. Действительно, по величественности своих зданий и национальному наряду своего народа, который напоминает древность, Петербург переносил меня во времена Агамемнона“...

„Мы с ним (т.-е. с гр. Строгановым) встретились“,—рассказывает она,—„очень радостно. У него было в Петербурге превосходное собрание картин, а под городом на Каменном острове находилась его прелестная дача, в роде италианского казино, где каждое воскресенье он давал большие обеды. Он сам привез меня туда, и я пришла в восторг от этого обиталища. Дача выходит на большую дорогу; из окон видна Нева, бесконечный сад разбит на английский манер; множество лодок стремилось к его пристани, привозя гостей в дом графа, а также и таких посетителей, которые, не будучи приглашены к его столу, приезжали лишь погулять в его парке. Граф позволял разнощикам торговать в саду, что весьма оживляло эту прекрасную местность, обращая ее как бы в веселую ярмарку, пестревшую живописным разнообразием народных одеяний. К трем часам мы пошли в крытую галлерею, обставленную колоннами, через которые свободно проникал свет; отсюда мы могли любоваться с одной стороны видом парка, а с другой—Невою, покрытую множе-

ством более или менее нарядных лодок. Погода стояла великолепная, потому что в России лето всегда неподобно, и мне самой часто бывало в июле месяце жарче, нежели в Италии. На этой же самой террасе был сервирован обед столь роскошный, что за десертом явились отличные плоды и превосходные дыни. Лишь только все сели за стол, раздалась чудная духовая музыка, которая играла все время обеда. В особенности превосходно была исполнена увертюра к „Ифигении“. Меня крайне удивило объяснение графа Строганова, что каждый музыкант издает лишь по одному звуку; я никак не могла понять, как все эти отдельные звуки могли сливаться в одно чудное целое, и откуда бралась выразительность при столь машинальном исполнении ¹⁾).

1) То была так называемая *роговая* музыка, изобретенная чехом Марешем и впервые заведенная в России в 1753 году оберъегермейстером С. К. Нарышкиным (род. 1710 г., ум. 1775 г.); по его примеру и другие вельможи завели себе хоры роговой музыки, которые, по выражению одного из очевидцев, составляли нечто вроде живой свирели из медных рогов (от 30 до 60 в хоре), длиною от 1 до 10 ф., при чем самые большие рога клалась на особые подставки. Иностранцы много удивлялись этой необыкновенной музыке, и сам суровый А. А. Шлецер оставил нам описание одного такого хора: „В душный летний вечер сижу я за своим письменным столом и слышу: вот едет Григорий Орлов на яхте вниз по Неве. За ним вереница придворных шлюпок, а впереди лодка с сорока приблизительно молодцами, производящими музыку, какой я в жизни не слышал,—а я воображал, что знаю все музыкальные инструменты образованной Европы. Казалось, как будто играли—выражение одного знатока этого искусства — „на нескольких больших церковных органах с закрытыми трубами в двух высших октавах, и вследствие отдаленности звук казался переливающимся и заглушенным“. Это было так же ново для слуха, как изобретенная впоследствии гармоника. То была изобретенная в 1753 году чехом Марешем и обер-егермейстером Нарышкиным русская полевая или *охотничья* музыка. Хор состоит из 40 человек, у каждого из них свой рог, у каждого рога свой собственный тон, и только этот единственный звук может извлечь играющий, а потому каждый должен только считать, когда ему приходится сделать паузу. И не смотря на то, слышны триоли, трели в целых симфониях с аллегро, анданте и престо. Возможно ли где-нибудь в другом месте подражать этой русской охотничьей музыке,—в этом сомневается один новейший издатель анекдотов; я также сомневаюсь—по уважительным причинам“. (Автобиография Шлецера в *Сборнике II-го отдел. акад. наук*, т. XIII,

„После обеда мы совершили прелестную прогулку по парку, а к вечеру, вернувшись на террасу, увидели очень хорошенький фейерверк, приготовленный графом; огни, отражаясь в Неве, придавали всему волшебный вид. Наконец, в заключение всех удовольствий этого дня, подъехали цыгане на двух весьма узеньких лодочках и начали плясать перед нами. Пляска состояла из двух движений на одном месте, что нас всех очень заняло“...

„Дом графа Строганова“,—говорит она,—„далеко не считался единственным по великолепию обстановки. В Петербурге, как и в Москве, множество вельмож, обладая громадными богатствами, наслаждаются тем, что позволяют себе держать открытый стол, так что известный или представленный к ним в дом иностранец не имеет ни малейшей нужды посещать трактиры; всюду ему готов и обед, и ужин, и затруднение представляется лишь в выборе,—к кому идти, я помню, как в последнее время моего пребывания в Петербурге, обер-штаб-майстер Нарышкин постоянно держал открытый стол человек на 25 или 30, собственно для иностранцев, которые ему были представляемы ¹⁾. Я всеми силами стара-

стр. 161—162). Шлецер понимает в этих словах Массона, который, рассказывая в своих мемуарах о России, про эту музыку замечает, что она может быть организована только в такой стране, где существует рабство (Masson, *Memoires secrets*, стр. 179). По свидетельству Ботри, „строй и голос этой исполненьской свирели, по петине, очарователен; на ней можно разыгрывать труднейшие музыкальные сочинения, которые нарочно приспособлялись к этому роду игры учеными итальянскими сочинителями, придворными капельмейстерами, которые надивиться не могут этому явлению в области музыки“. (См. *Ботри*, О древностях русских, в *Маяке* 1844 г., кн. XII, стр. 74; ср. *Георги*, Описание С.-Петербурга, стр. 649; Записки графа Сегюра, стр. 119 и Сочинения Державина, изд. *Грота*, т. I, стр. 97).

¹⁾ Лев Александрович Нарышкин, род. 1733 г., ум. 1799 г., известный своим хлебосольством, веселым нравом и острым умом. Г-жа Виже-Лебрен написала его грудной портрет, который находился на портретной выставке 1870 года под № 652; там же, под № 716, находилась копия, сделанная с него Ремезовым. Хотя г-жа Лебрен и говорит, что Нарышкин держал открытый стол преимущественно для иностранцев, но Ф. В. Булгарин рассказывает в своих „Воспоминаниях“ (т. I, стр. 217) следующее: „Каждый дворянин хорошего поведения, каждый заслуженный офицер

лась избавиться от частных обедов в гостях; занятие живописью и потребность послеобеденного отдыха были для меня единственными оправданиями при моих отказах; а то русские очень любят, когда к ним ездят на обеды. Такое гостеприимство существует и внутри России, куда нынешнее просвещение не успело еще проникнуть. Когда русские вельможи отъезжают в свои имения, которые обыкновенно находятся на больших расстояниях от столиц, то по дороге останавливаются у других помещиков, и даже не будучи лично знакомы с хозяевами дома, все-таки принимаются ими,—и сами они, и их прислуга, и их лошади содержатся на счет хозяев, во все время остановки, хотя бы она продолжалась целый месяц. Скажу более: я видела одного путешественника, который объездил всю эту обширную страну с двумя друзьями, и все трое совершили путешествие по самым отдаленным местностям, как будто странствовали в золотой век, во времена патриархальные. Всюду их помещали и кормили с таким добродушием, что кошельки их оказались почти излишними. Приходилось только давать на водку людям, которые им служили и присматривали за их лошадьми. Хозяева, принимавшие их, по большей части были из купцов, или даже крестьяне, очень удивлялись их горячей благодарности и говорили: „Если бы мы были в вашей стране, неужели вы не сделали бы того же для нас?“...

„Наш кружок был весьма многочислен, и все только о том и думали, как бы повеселиться. После обеда совершали прекрасные прогулки в изящных лодках, разукрашенных малиновым бархатом с золотою бахромою; в более скромной

имел право быть представленным Л. А. Нарышкину и после мог хоть ежедневно обедать и ужинать в его доме. Литераторов, обративших на себя внимание публики, остряков, людей даровитых, отличных музыкантов, художников Л. А. Нарышкин сам отыскивал, чтоб украсить ими свое общество. В 9 часов утра можно было узнать от швейцара, обедает ли Лев Александрович дома, и что будет вечером, и после того без приглашения явиться к нему... Ежедневно стол накрывался на 50 и более особ. Являлись гости, из числа которых хозяин многих не знал по фамилии, и все принимаемы были с одинаковым радушием“. То же рассказывают о графе Строганове (Соч. Державина, изд. Грота, I, 503).

лодке ехал впереди нас хор песенников и услаждал нас своим пением, которое отличалось удивительною верностью, даже на самых высоких нотах. В самый день моего приезда, вечером, играла музыка, а на другой день шел отличный спектакль. Давали „Le Souterrain“ Далеярака. Княгиня исполняла роль Камиллы, молодой Рибопьер ¹⁾, который впоследствии был важным лицом в России, играл роль ребенка, а граф Кобенцель—садовника. Помню, что во время представления приехал из Вены курьер с депешами к графу, но при виде человека в одежде садовника, не хотел вручить ему депеши и тем не мало позабазил бывших за кулисами ²⁾.

¹⁾ В „Воспоминаниях“ г-жи Лебрен—„Ridaussière“; но, здесь, очевидно, идет речь об А. И. Рибопьере, впоследствии графе, скончавшемся в 1865 г. Сын швейцарца, принятого в русскую военную службу и убитого при взятии Измаила в 1790 г., он был лично известен имп. Екатерине в своем детстве; она даже писывала к нему письма во время летних его поездок с матерью (рожд. Вибиковою, дочерью известного Александра Ильича) из Петербурга в деревню (*Р. Архив*, т. VIII, стр. 529). Несколько воспоминаний о Екатерининском времени записано со слов графа Рибопьера г. Жилем в книге: *Музей Императорского Эрмитажа*, С.-Пб. 1861.

²⁾ Граф Е. Ф. Комаровский в своих „Записках“ (*Осьмнадцатый век*, т. I, стр. 415, 416) рассказывает этот же случай с Кобенцелем, но несколько иначе: „Тогда в большом обыкновении были спектакли из лиц высшего общества. Посол Римского императора, граф Кобенцель, известный своею любезностью, был из числа обожателей княгини Долгорукой; он имел прекрасный талант к театру, и часто они играли вместе... Общюю молвою было тогда, что посол после одной роли, приехал столь утомленный домой прямо с театра, что лег в постель не раздевшись; едва он заснул, как камердинер его будит и вводит курьера, к нему приехавшего от императора с нужными депешами. Граф Кобенцель вскочил с постели; курьер, увидя его с насурменными бровями, наруганным и сделав несколько шагов назад, сказал: „Это не посол, а какой-то шут!“ Страсть Кобенцеля к светским удовольствиям и в особенности к благородным спектаклям подавала повод к частым шуткам над ним: „Неприятные известия, которые он постоянно получал во время войны с Францией“,—говорит Массон,—„не мешали ему задавать праздники и балы и устраивать спектакли. Когда получалось известие о какой-нибудь новой победе Бонапарте, остряки говорили: „Ну, значит у нунция будет бал в субботу“. Екатерина, смущенная этою бешеною страстью Кобенцеля, к домашним спектаклям, сказала однажды: „Вы увидите, что он бережет свой лучший спектакль ко дню вступления французов в Вену“ (*Vasson*, 89).

„Маленький театр был прелестен; мне пришло в голову поставить на нем живые картины. Из Петербурга к нам непрерывно приезжали гости; я выбрала действующих лиц из самых красивых мужчин и женщин и костюмировала их в кашемировые шали, которых у нас было вдоволь. Сюжеты картин я выбирала преимущественно серьезные и сценам из библии отдавала предпочтение над всеми прочими; ставила также по памяти картины известных мастеров, например, „Семейство Дария“¹⁾, и эта картина удалась отлично, но больше всего имела успеха картина „Ахилл при дворе Ликомеда“²⁾; роль Ахилла я взяла на себя, потому что одевалась по большей части так, что каска да щит были совершенно достаточны, чтобы сделать мой костюм вполне верным исторически. Живые картины чрезвычайно занимали все общество, и потому на следующую зиму они были перенесены в Петербург и придали разнообразие другим вечерним удовольствиям тамошнего общества. Всякому хотелось участвовать в них, и нередко я бывала поставлена в необходимость противоречить иным дамам, которые сильно желали выставить себя на показ...

„Знаменитый Потемкин, тот самый, который желал, чтобы слово „невозможно“ было вычеркнуто из грамматики, был страстно влюблен в княгиню Долгорукую, и великолепие, которое он расточал, выражая свою любовь, превосходит все чудеса „Тысячи и одной ночи“. Когда, после путешествия Екатерины в Крым, князь Потемкин остался на юге командовать войсками, многие из состоявших при нем генералов привезли своих жен. В это время он и познакомился с княгиней Долгорукою³⁾. Княгиня носила имя Екатерины, и когда наступил день ее именин, князь задал большой обед, как бы в честь государыни. За обедом он поместил княгиню возле себя. За десертом были поданы хрустальные чаши, наполненные бриллиантами, которые раздавались дамам целыми

¹⁾ Картина известного французского исторического живописца XVII века Лебрена.

²⁾ Картина живописца Рено.

³⁾ Любопытные подробности о пребывании княгини Е. Ф. Долгорукой в Бендерах, см. в Записках Энгельгардта, стр. 114, 115.

ложками. Когда царица пиршества заметила такую роскошь, Потемкин тихо ей сказал: „Ведь я праздную ваши именины, чему же вы удивляетесь?“ Ему все было ни по чем, лишь бы удовлетворить желанию, капризу обожаемой им женщины. Однажды, узнав, что у нее не случилось бальных башмаков, которые она обыкновенно выписывала из Парижа, он послал за ними нарочного, и тот скакал и день и ночь и привез-таки башмаки к сроку. В Петербурге рассказывали еще об одной его выходке, сделанной в угоду княгине Долгорукой: она пожелала видеть зрелище приступа к крепости, и Потемкин велел идти на приступ Очакова ранее, чем следовало, и, быть может, ранее, чем требовала осторожность¹⁾...

Вижте Лабрен.

ПРОВИНЦИАЛ В ПЕТЕРБУРГЕ.

„Первые сие дни, как хотелось еще поосмотреться и отдохнуть с дороги, то ходили с ним смотреть знаменитых здесь мест и на гостинный двор, для закупки кое-чего нужного для нашего житья. По прибитому у нас на стенке плану видим мы тотчас, сколь далеко до какого места.

„О Петербурге скажу вам, батюшка, что я нашел его точно таковым, как его себе воображал, зная его план. Хорошо выстроенными строениями сия столица очень богата; оных строится безпрестанно множество вновь. Строеие Исакьевской церкви продолжается. Мы видели оную. Когда достроится, то будет сие здание в Петербурге весьма знаменитая редкость. Видели мы также монумент Петра Великого и многие на реке пришедшие суда. Адмиралтейство только показалось мне весьма нехорошим, кроме башни со шпилем золотым. Я воображал себе его зданием огромным каменным, а вышло совсем противное. Дворец также—громада и фигура очень старинька. Ежели бы летом, то можно бы всюду выходить. Я видел здесь многие виды, стоящие картин. Здесь всякий

¹⁾ Едва ли нужно опровергать это известие, порожденное петербургскими сплетнями. Поведение Потемкина во время осады Очакова объясняется более важными причинами, о которых, впрочем, здесь не место распространяться.

день дожди и грязь по улицам превеликая. Как-то в вашей стороне? дай Бог, чтоб зима стала поскорее.

„Еще извещу вас, батюшка, о том удовольствии, которое я имел, едучи через Царское Село. Вы легко отгадаете, что оно состояло в том, что мне удалось видеть сей славный и первый почти сад в государстве. И в самом деле, несмотря на краткость времени, покуда запрягали наших лошадей, но я с товарищем своим успел обегать много сего сада и получить об нем довольно понятие. Спасибо, что на это время погода была тихая и теплая. Теперь скажу вам о сем саде, что в рассуждении украшений, богатств и великолепий оно, есть прямо что посмотреть, а особливо увеселяют оные человека, никогда не видавшего их. Не пощажено тут в изобилии ни различных драгоценных мраморов и других украшений и все сделано прямо государскою рукою. О вкусе же, с каким расположен он, я, так как не совершенный знаток в садах, не осмеливаюсь судить. Только кажется, что он сделан в подражание знаменитым в Европе садам, как-то: Кевскому, Штовенскому, Монсо и прочим, переделанным из старых садов. Есть тут множество зданий во вкусе готическом, китайском и греческом, а более Чамберсов вкус Англо—шиное владычествовал во всех новейших украшениях сего сада. Деревья в оном уже все очень велики и к иному месту слишком стары. Сделано также множество увеселительных игр, как-то: качели, горы, карусели, кегли и проч. Словом, множество вещей, которые бросаются скоро в глаза. Для меня любопытнее всего показалось искусство, с каким поделаны руины. Только г. Гиршфельд, по приведении его в сей сад, нашел бы многое несходным с его вкусом, как-то единообразные повсюду укатываемые луга, твердо убитые, кривые дорожки и прочее... может быть, все сие сделано в нынешнем аглинском вкусе“...

„Имея же давно желание побывать на Шпалерной Мануфактуре, не мог избрать времени или, лучше сказать, добиться, чтоб туда меня свозили (ибо без предводителя в том случае мало можно увидеть). Я услышал, наконец, что туда можно и без позволения ехать смотреть в первую субботу каждого месяца. Вчера была таковая, и я непременно уже

положил туда съездить. Итак, поехав один, сыскал там такого человека, который бы мог мне все показать и растолковать, а несколько обещанных за труд денег и могли мне доставить все желаемое. Скажу вам, что я имел при сем великое удовольствие, рассматривая как производства тканья картинных обоев, так и дивясь чудному искусству работы сей. И в самом деле, есть на чем повострить свое любопытство и есть прямо чего посмотреть, а особливо невидавшему никогда сей искусной работы. Истинно засмотришься, и я вам скажу, батюшка, что я не воображал себе никогда, чтоб можно было вы ткать гарусами столь живо и столь похоже на самую лучшую живописную картину. Тут есть также изрядное собрание весьма хорошей работы живописных картин и собрание портретов древних государей и князей российских. Словом сказать, что я весьма доволен был, что удалось мне посмотреть сию славящуюся Шпалерную фабрику и получил доброе понятие и сведение о всех работах и производствах оной. Теперь более всего желательно мне, чтоб удалось побывать в Кунсткаморе и в Академии Художеств. Думаю, что сей случай снищет мне доктор Амбодик, только жаль, что не удастся с ним никогда видеться. Вчера я намерен был побывать у самого его и отвезть к нему в подарок ящичек песков; но затем дело стало, что мы, не справившись порядочно, не могли отыскать, где он живет, но как бы то ни было, но я постараюсь сие исполнить.

Более сего не произошло вчера ничего особенного. У брата Михайла Васильевича были кое-кто гости, а ввечеру, изволите ли знать, где мы были? В Очакове... Здесь есть один домик, носящий на себе имя сего невозавоеванного города. Один из подданных князя Потемкина есть установитель и содержатель сего трактира и установлен он в честь завоевавшему настоящий сей город. Только да будет вам, батюшка, известно и то, что сей трактир не совсем напрасно носит сие имя. Все убранствы и украшения в оном сделаны по большей части в турецком вкусе, как-то диваны, софы и проч., также и все служители в оном наряжены в турецких платьях и чалмах, что с одной стороны очень смешно и нескладно. Причина же езды туда была та, что Михайлу Васильевичу,

собравшись с своими знакомцами, надлежало попотчевать приятеля, а я согласился поехать туда затем только, чтоб посмотреть, что такое за зверь славящийся здесь столько господин трактир „Очаков“, только я весьма не куриозен был оставаться долго в такой компании, в увеселениях которой я никак не мог сделать соучастия и сотоварищества. Я всклепал на себя головную боль и уехал домой, а господа наши прогуляли там большую половину ночи и очень-очень поздно по домам разъехались...

А. Болотов.

ВИД МОСКВЫ В 1778 г.

Кремль занимает собою центральную и наиболее высокую часть города, имеет вид треугольника, омываемого с юга Москвой рекой, с запада и севера—Неглинной. Кремль окружен полукирпичной стеной, воздвигнутой миланским архитектором Петром Солариусом, в 1491 году, как видно из надписи над одними воротами. Кремль не обезображен деревянными зданиями, подобно другим частям Москвы; здесь находится старый государев двор, несколько церквей, два монастыря, патриарший двор, оружейная палата (уже развалившаяся) и дом, некогда принадлежавший Борису Годунову.

Китай-город окаймлен с одной стороны Кремлем, с другой—кирпичной, довольно низкой стеной. Китай-город гораздо значительнее Кремля, включает университет¹⁾, типографию и все торговые ряды. Здания большею частью оштукатурены или выбелены и здесь находится единственная улица во всей Москве, где дома тесно примыкают друг к другу без всяких промежутков.

Белый-город охватывает собою две первые части, примыкая с одной стороны к Кремлю, с другой стороны—к Китай-городу. Белый-город, вероятно, получил свое название от окружавшей его некогда белой стены, которой остатки видны и до сих пор²⁾.

¹⁾ В 18 веке Университет помещался у Иверских ворот (*сост.*).

²⁾ Стены и башни Белого города (27 башен и 10 ворот) были построены в 1586—93 г.г., были разрушены за ветхостью при имп. Елизавете, а при Екатерине II на их месте разбиты бульвары (*сост.*).

Земляной-город тянется за тремя вышеупомянутыми частями, получив свое название от окружающего его земляного вала. Как Земляной-город, так и Белый-город представляют собой странную смесь церквей, монастырей, дворцов, каменных и деревянных зданий и жилых хижин, ничем не отличающихся от крестьянских изб.

Слобода или слободы окружают собою все вышеупомянутые части. За слободами тянется низкий вал и ров. В этой части города, помимо всякого рода зданий, находятся поля, много лугов и несколько небольших озер, дающих начало реке Неглинной...

„Я был удивлен,—пишет автор записок,—странным видом Смоленска, но несравненно более меня поразила неизмеримость и разнообразие Москвы. Это нечто настолько неправильное, своеобразное, необычайное, здесь все так полно контрастов, что мне никогда не случалось видеть ничего подобного. Улицы большею частью необыкновенно длинные и широкие; некоторые из них вымощены камнем; другие—особенно в слободах—выложены бревнами или досками, на подобие деревянного пола. Жалкие лачуги кучатся около дворцов, одноэтажные избы построены рядом с богатыми и величественными домами. Многие каменные здания—с деревянными крышами; иные деревянные дома выкрашены; у других железные двери и крыши. Бесчисленные церкви в каждой из своих частей представляют особый стиль архитектуры; некоторые куполы крыты медью, иные жемчужно, золоченною или окрашенною в зеленый цвет. Некоторые кварталы этого огромного города кажутся совершенными пустырями; иные — густо населены; одни походят на бедные деревушки, другие имеют вид богатой столицы.

„Вообще Москва производит впечатление азиатского города, мало по малу принимающего европейский вид. В настоящем своем составе она представляет собою пеструю смесь самых несогласимых родов архитектуры“...

„Здесь, по русскому обычаю, общему со многими азиатскими городами, все лавки скучены в одно место и образуют собой нечто похожее на постоянную ярмарку, состоящую из множества рядов низких кирпичных зданий с промежуточ-

ными ходами. Лавки занимают большое пространство, но купцы не живут в них и обыкновенно возвращаются вечером домой... Лавки однородных товаров примыкают друг к другу; меха и кожи—главный предмет товара в Москве,—а равно и овощные лавки, занимают несколько улиц“...

„Рынок этот (на котором продаются дома—*сост.*) находится на большой площади в одной из слобод ¹⁾ и представляет собою целую массу готовых деревянных домов самого разнообразного вида, тесно примыкавших друг к другу. Покупатель, являясь на рынок, объявляет, сколько хочет иметь комнат, присматривается к лесу и платит деньги. Иногда сам покупатель берет на себя перевозку; в других случаях купец перевозит дом и ставит на назначенном месте. Со стороны покажется невероятным, каким образом можно купить дом, перевести и поставить его в одну неделю; но не следует забывать, что здесь дома продаются совершенно готовыми срубамн, так что ничего не стоит перевести их и собрать вновь“...

У. Кокс.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПЕТЕРБУРГЕ И МОСКВЕ.

Я вовсе не люблю Москвы, но не имею никакого предубеждения против Петербурга, я стану руководиться благом империи и откровенно выскажу свое чувство. Москва—столица безделья, и ее чрезмерная величина всегда будет главной причиной этого. Я поставила себе за правило, когда бываю там, никогда ни за кем не посылать, потому что только на другой день получишь ответ, придет ли это лицо, или нет; для одного визита проводят в карете целый день, и вот, следовательно, день потерян. Дворянству, которое собралось в этом месте, там нравится; это неудивительно; но с самой ранней молодости оно принимает там тон и приемы праздности и роскоши; оно изнеживается, всегда разъезжая в ка-

¹⁾ В XVI и XVII в.в. подобный рынок находился в Земляном городе, за Яузой, см. Костомарова; „Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях“, стр. 25.

рете шестерней, и видит только жалкие вещи, способные расслабить самый замечательный гений. Кроме того, никогда народ не имел перед глазами больше предметов фанатизма, как чудотворные иконы на каждом шагу, церкви, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги в домах,—какие дома, какая грязь в домах, площади которых огромны, а дворы—грязные болота. Обыкновенно каждый дворянин имеет в городе не дом, а маленькое имение. И вот такой сброд разношерстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму порядку и с незапамятных времен возмущается по малейшему поводу, страстно даже любит рассказы об этих возмущениях и питает ими свой ум. Ни один еще дом не забыл совсем старинное слово „дозор“. Поспешность, с какою я пишу это, производит то, что я, может быть, забываю много обстоятельств, которые вместо того, чтобы уменьшить, усилили бы то, что я говорю; как, например, статья о фабриках огромной величины, которые имели безрассудство там устроить и в которых чрезмерное количество рабочих, все еще пользующихся привилегиями, очень противоречащими доброму порядку, увеличивают смуты, которым во всякое время подвергался этот город. Не следует еще исключать из этой черты деревни, слившиеся в настоящее время с этим городом, и где не правит никакая полиция, но которые служат притоном воров, преступлений и преступников; таковы: Преображенское, Бутырки и проч., и проч.—Петербург, надо сознаться, стоил много людей и денег; там дорога жизнь, но Петербург в течение 40 лет распространил в империи денег и промышленности более, нежели Москва в течение 500 лет с тех пор, как она построена; сколько там народу занято постройками, подвозом съестных припасов, товаров, сколько денег они вывозят в провинции; народ там мягче, образованнее, менее суеверен, более свыкся с иностранцами, от которых он постоянно наживается тем или другим способом, и т. д., и т. д.

Екатерина II.

В М О С К В Е.

I.

„Я думала“, — рассказывает Виже-Лебрен, — „что въезжаю в Испагань, о которой имела понятие по многим рисункам; так отличается Москва своим видом от всего, что существует в Европе; буду описывать то впечатление, которое произвели на меня эти бесчисленные золотые купола, увенчанные громадными золотыми крестами, эти широкие улицы, эти великолепные дворцы, расположенные, по большей части, на таком пространстве один от другого, что их разделяют как бы целые деревни; чтобы составить себе понятие о Москве, надо непременно видеть ее“.

„Едва расположившись в новом своем жилище, я начала осматривать город, насколько то позволяла зимняя стужа, так как в продолжение пятимесячного моего пребывания в Москве снег не таял, и я была лишена удовольствия объехать ее окрестности, которые, как говорят, прелестны... По истине изумительное зрелище представляет собою это множество дворцов, общественных памятников прекрасной архитектуры, монастырей, церквей, в перемежку с сельскими видами и деревенскими постройками. Это смешение великолепия с деревенскою простотою производит какое-то волшебное впечатление, которое не может не нравиться путешественникам, вечно жаждущим оригинальности“...

„Я уже заметила“, — замечает она, — „что в Петербурге все высшее общество составляло как-бы одну семью; вся знать считалась точно в родстве между собою; в Москве, где народонаселение гораздо значительнее, и дворянство гораздо многочисленнее, — многочисленнее и высшее общество. Так, например, большая зала, которая может вместить в себе до шести тысяч человек, наполняется одними дворянскими фамилиями. Эта зала (в здании дворянского собрания) окружена галлеею, на которую ведут несколько ступенек, и рядом колонн; здесь прохаживаются нетанцующие; перед залой еще несколько больших комнат, в которых ужинают и играют в карты. Я отправилась на один из таких балов и была приятно удивлена собранием множества хороших лиц. То же

самое могу сказать и опрехрасном бале, на которой была приглашена супругою фельдмаршала графа Салтыкова¹⁾. Почти все молодые женщины были замечательной красоты. Они большею частью были одеты в тот античный костюм, мысль о котором я подала великой княгине Елизавете Алексеевне для придворного бала: все они были в туниках из кашемира, обшитых золотою бахромою; чудесные бриллианты схватывали короткие приподнятые рукава, а прическа на всех была греческая, украшенная по большей части повязками, усыпанными бриллиантами. Эти элегантные и роскошные наряды еще более увеличивали красоту этой толпы прелестных женщин. В особенности заметила я одну из них: то была одна молодая особа, на которой вскоре затем женился князь Тюфякин. Ее лицо с тонкими и правильными чертами носило печать глубокой задумчивости. По выходе ее замуж я начала ее портрет, но в Москве мне удалось сделать лишь головку, и я увезла его в Петербург, чтобы здесь окончить, то тут вскоре узнала о смерти этой прелестной особы. Ей было едва 17 лет; я ее изобразила в виде Ирисы, с развевающимся вокруг шарфом и сидящею на облаках²⁾...

¹⁾ Граф Иван Петрович Салтыков, генерал-фельдмаршал, род. в 1730 г., а ум. в 1805 году; с 1797 по 1801 г., был главнокомандующим в Москве; женат был на графине Марье Петровне Чернышевой (1739—1802 в.г.). По словам Вигеля, „в нем можно было видеть тип старинного барства, но уже привыкшего к европейскому образу жизни: он любил жить не столько прихотливо, как широко; имел многочисленную, но хорошо одетую прислугу, дорогие экипажи, красивых лошадей, блестящую сбрую; если не всякий, то, по крайней мере, весьма многие имели право ежедневно садиться за его обильный и вкусный стол“. (Воспоминания, т. I, стр. 97).

²⁾ Вигель, в своих воспоминаниях, т. II, стр. 36, говорит, что прелестная княгиня Тюфякина сделалась жертвою несогласия климата русского с тогдашнею модною одеждою, в классическом вкусе, которую он описывает следующим образом: „На молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело; не страшась ужаса зимы, оне были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы: по истине казалось, что легкокрылые Психеи порхали на паркете. Но каково же было пожилым и дородным женщинам?“ Князь Петр Иванович Тюфякин род. в 1769 г., был камергером и управлял некоторое время петербургским театром; ум. в Париже в 1845 г.;

„В Москве русские вельможи живут так же роскошно, как и в Петербурге. В этом обширном городе множество великолепных палат с самою изысканною обстановкой. Одним из пышнейших был дом князя Александра Куракина ¹⁾, с которым я была знакома в Париже, где написала с него два портрета. Когда он узнал, что я в Москве, то приехал ко мне и позвал меня с моими друзьями, г-жею Дюкре-де-Вильнев и ее мужем, к себе на обед. Мы приехали в громадный дворец, отделанный снаружи с царскою роскошью. Ряд зал, которые нам пришлось пройти, были украшены одна другой богаче, и во многих из них находились портреты хозяина, то во весь рост, то поясные. Прежде чем идти к столу, князь Куракин показал нам свою спальню, которая по изяществу превосходила все остальные комнаты. Постель, стоявшая на возвышении со ступеньками, прикрытыми прекрасным ковром, была окружена колоннами с богатыми занавесями. Две статуи и две вазы с цветами стояли по углам помоста, а затейливая мебель, отличные диваны, делали из этой комнаты обиталище, достойное самой Венеры. Идя в столовую, мы прошли широкий корридор, по стенам которого стояло в ряд множество прислуги в парадных ливреях и с факелами в руках, что произвело на меня впечатление какой-то важной и торжественной церемонии. Во все время обеда играл невидимый для нас хор роговой музыки, помещавшийся над нашими головами. Несметное богатство князя Куракина позволяло ему жить по царски... Он был прекрасный человек, крайне вежливый с равными себе и без малейшей спеси в отношении с низшими.

был женат на Екатерине Осиповне Хорват, родной племяннице кн. Пл. Зубова. Г-жа Лебрен несколько ошибается в хронологических указаниях: княгиня Тюфякина род. 1779 г., а умерла 1802, стало быть, не 17, а 25 лет (Р. Родосл. книга. Спб. 1873; стр. 12). Упомянутый портрет княгини находился впоследствии у князя П. И. в Париже.

¹⁾ Князь Александр Борисович, род. 1725 г., ум. 1818 г., был одним из любимцев императора Павла, но с конца 1798 г. по февраль 1801 находился в опале, почему и жил в Москве. Он любил роскошь и жил эпикурейцем (см. Воспоминания Вигеля, т. I, стр. 204).

„В то время, когда я жила в Москве, самым богатым человеком в ней, а может быть и во всей России, считался граф Безбородко ¹⁾. Как сказывали, у него было столько крестьян, что он мог с одних своих земель выставить 30 тысяч рекрут, а известно, что в России крестьяне крепки земле. У него было множество крепостных, и он прекрасно обращался с ними и многих обучал разным ремеслам. Когда я к нему приехала, он показывал мне свой дом, где некоторые покои убраны мебелью, купленою им в Париже у известного мебельщика Дагера; но большая часть мебели в его доме сделана была его собственными крестьянами и так, что не было никакой возможности отличить ее от парижской. Эти превосходные изделия доказали мне, как удивительно способны русские: все легко понимают и, кажется, одарены особенною сметливостью в работе“...

Вижь Лебрен.

II.

В Москве я остановился в очень хорошей гостиннице. После обеда, особенно для меня необходимого с дороги, я взял извожничью карету и отправился развозить рекомендательные письма, в числе четырех или пяти, полученных мною от разных особ. Промежутки в этих визитах дали мне время показать Москву моей Заирочке (*à ma petite Zaïre*). Она была очень любознательна и приходила в восторг от каждого здания; для меня же в этой прогулке памятно одно лишь обстоятельство: неумолкаемый звон колоколов, терзавший ухо. На следующий день мне отдали все визиты, сделанные мною накануне. Каждый звал меня обедать вместе с моей питомицей. Г. *Демидов* в особенности оказывал внимательность к ней и ко мне. Я должен сказать, что девочка делала с своей стороны все зависящее, чтоб оправдать эту любезность. Во всех обществах, куда я ее возил, раздавался постоянно хор

¹⁾ Граф Илья Андреевич, род. 1756 г., умер 1815 г., брат знаменитого канцлера, богатства которого наследовал. В рассказах своих о Безбородке г-жа Лебрен отчасти смешивает обоих братьев.

похвал уменью ее держать себя, грациозности и красоте. Мне было очень приятно, что никто не хлопотал разведывать, точно ли она моя воспитанница, или просто любовница и служанка. В этом отношении русские самый нещепетильный и сговорчивый народ в мире, и практическая их философия достойна высоко-цивилизованных наций.

Кто Москвы не видал, тот не видал России, и кто знает русских только по Петербургу, тот не знает русских чистой России. На жителей новой столицы здесь смотрят, как на чужеземцев. Истинною столицею русских будет еще надолго матушка-Москва (*la sainte Moscou*). К Петербугу относится с неприязнию и отвращением старый москвич, который, при удобном случае, не прочь провозгласить против этой новой столицы приговор Катона старшего на счет Карфагена. Оба эти города—соперники между собой не вследствие только различий в их местном положении и назначении: их рознят еще и другие причины, причины религиозные и политические. Москва тянет все назад, к давнопрошедшему: это город преданий и воспоминаний, город царей, отродье Азии, с изумлением видящее себя в Европе. Я во всем подметил здесь этот характер, и он-то придает городу своеобразную физиономию. В течение недели, я обозрел все: церкви, памятники, фабрики, библиотеки. Эти последние составлены весьма плохо, потому что население, претендующее на неподвижность, любить книги не умеет. Что до здешнего общества, то оно мне показалось приличнее петербургского и правильнее цивилизованным. Московские дамы отличаются любезностью. Они ввели в моду премилый обычай, который желательно бы распространить в других краях, а именно: довольно чужестранцу поцеловать у них руку, чтоб они тотчас же подставили и ротик для поцелуя. Не сочту, сколько хорошеньких ручек я спешил расцеловать в течение первой недели моего пребывания. Стол здесь всегда изобильный, но услуживают за столом беспорядочно и неловко. Москва—единственный город в мире, где богатые люди держат открытый стол в полном смысле слова. Не требуется особого приглашения со стороны хозяина дома, а достаточно быть с ним знакомым, чтобы разделять с ним трапезу. Часто случается, что друг

дома зовет туда с собой многих собственных знакомых и их принимают точно так же, как и всех прочих. Если приехавший гость не застанет обеда, тотчас же для него нарочно опять накрывают на стол. Нет примера, чтобы русский намекнул, что вы опоздали пожаловать; к подобной невежливости он окончательно не сроден. В Москве круглые сутки идет стряпня на кухне. Повара там в частных домах заняты не менее, чем их собратья в парижских ресторанах, и хозяева столь далеко простирают чувство радушия, что считают себя как-бы обязанными лично подчивать своих гостей за каждою трапезой, что иногда следует, без перерыва, вплоть до самой ночи. Я никогда не решился бы жить своим домом в Москве; это было бы слишком накладно и для моего кармана, и для здоровья...

Ф. Казанова.

МОСКВА И ЕЕ ОБЩЕСТВО В 1774 г.

„Нельзя лучше представить себе Москву“, — говорит француз Белькур, — как в виде совокупности многих деревень, беспорядочно размещенных и образующих собою огромный лабиринт, в котором чужестранцу не легко опознаться. Вы видите тут огромные, роскошно изукрашенные палаты; но все строено в самом странном вкусе (*dans le goût le plus baroque*). И эти палаты окружены дрянными, маленькими домишками, которые я без клеветы могу назвать настоящими балаканами (*véritables barraques*). Кремль, царский дворец, состоит из беспорядочных, полуразрушенных построек, как будто он только что выдержал осаду от варваров-разрушителей. Улицы дурно проложены и также дурно содержатся. Благоустроенных общественных зданий нет — ни одно даже не заслуживает такого названия. Есть только одно сооружение замечательное: триумфальные ворота, на вершине которых стоит статуя императрицы Елисаветы (?) Они называются Красными...

„На другой день по моем прибытии, я с тремя другими Французами, моими спутниками, явился к Московскому Главно-

командующему князю Волконскому. Он принял нас очень прилично, отвел нам квартиру близь своего дома—в палатах, принадлежавших князю Одоевскому, и приказал доставлять нам все необходимое. Он даже объявил мне весьма любезно, что приглашает меня к своему столу на все время моего пребывания в Москве, и я тем с большим удовольствием принял это приглашение, что стол у него был хороший и особенно отличался прекрасными винами всякого рода, и что дом вообще был гостеприимный“...

„Я старался сблизиться с находившимися в Москве Французами. Меня побудило к этому то обстоятельство, что, посещая главные дома столицы, они должны были знать местные обстоятельства и могли доставить мне сведения, которые сам по себе я не сумел бы приобрести. Москва,—говорили они мне,—составляет город как бы независимый от всего государства, ибо в ней живут так же свободно, как в какой-нибудь республике; общество здесь прекрасное за исключением нескольких лиц, которые отравляют приятное общественное настроение, внося в свои поступки лесть и притворство... Приезжающие принимаются здесь чрезвычайно ласково. Я разумею под названием приезжих не только чужестранцев, но и Русских, которые не уроженцы Москвы и ближних с ней мест...

„Нет страны, где бы столько тратилось на образование, как в России. Здесь видишь в высшем сословии чуть не столько же воспитателей, сколько детей, и гувернеры эти получают хорошее жалованье, хотя весьма часто не стоят его. Дворянин, который желает быть светским человеком, должен иметь датскую собаку, скорохода, много прислуги (дурно одетой) и Француза-учителя. Большое число таких учителей не при месте очень понижает размер их вознаграждения. Но, к сожалению, в выборе этих людей мало обращают внимания на достоинства. Хотят иметь Француза и берут того, какой случится. За то, вследствие дурного выбора учителей и жалованья, которое не поощряет их к усердию, в этом звании, гораздо менее уважаемом, чем бы следовало, попадают люди с понятиями и манерами наших парикмахеров и лакеев“...

„Дамы русские, побывавшие в Париже, по большей части усвоили себе дурной тон наших французских модниц (*petites maitresses*) и привезли его с собою в Россию. Хорошего же тона они не приобрели и весьма далеки от этой цели как в отношении приятности разговора и ума, так и в отношении порядочности в обращении и в туалете. Другие дамы, не бывшие за границей, хотят подражать тем, которые подышали воздухом Франции: но им удастся усвоить себе только дурное. Как ни стараются они хорошо одеваться, у них все выходит нескладно. Три, четыре косынки, одетые без вкуса, делают их похожими на кормилиц, нарядившихся в детские пеленки... К тому же они любят вино и крепкие напитки и много пьют их, подобно своим мужьям; как мужчины, так и дамы очень жестоки со своими рабами. Последние, не решаясь мстить силою, нередко прибегают к отраве...

Белькур.

В МОСКВЕ АВГУСТА 16 ДНЯ 1772 г.

Вознамеренное великолепное Кремлевское здание в 9 день сего месяца столько начато, что земля освящена и рвы на основание копать стали.

Величество сего здания делает и малое начало примечания достойным, почему и следует здесь описание оногo:

I. Во первых, из намериваемого по берегу Москвы реки, длиною более 300 сажен, здания очищено было по середине и против собора Архангельского место на зал пространством на 50 сажнях, из коих 40 взято в длину по реке, и 35 поперег к собору Архангельскому со вмещением в сих и задней галлерей при зале. По углам, коими граничило занятое место на зале, поставлены были на время четыре столба ордена Дорического, каковые в древности употребляемы были в честь Геркулесу, изображающие Геройскую и здания намериваемого крепость с его пределами. Сии столбы переплетены зеленью, на верьхах своих имели изображения Европы, Азии, Африки и Америки в знаменование Аллегорическое

четырёх частей света, свидетельствующих могущество Рос-
сов и величество здания.

II. На середине означенного на зале места сделано было небольшое четверугольное возвышенное место для освя-
щения воды на окропление начинающегося основания Крем-
левского. Из середины сего места по углам соответственно
к четырем большим представляющим четыре части света
столбам, поставлены были другие четыре столба высотой
только до третьей доли возвышения от базов, для показания
еще токмо начинающегося строения. Верхи сих последних
столбов украшены были обелисками, на которых во внутрен-
нем виде медалионами изображены были четыре древние
царства Московское, Казанское, Астраханское и Сибирское,
в соответствие Аллегорическое к четырем частям света
и в знаменование подобящихся силами свету четырех царств
Российских, на которых могуществе не единого народа, но
целого почти рода человеческого достойное зиждется в Москве
здание. Из внешнего виду на обелисках изображены были ме-
далионами ж разные губернии Империи Российской. Вверху
obeliskов, утвержденных на всех четырех столбах, был
украшением одинакий герб Императорский орел; и наконец
как столбы, так и обелиски с гербами перевиты были раз-
личными цветами с зеленью на подобие фестонов, и каждый
из сих столбов имел особливую между цветами перевитую
надпись, а именно:

На первом столбе надпись была следующего содер-
жания:

Могущество державъ представивъ свѣту нынѣ,

На славу зиждеть домъ Москва ЕКАТЕРИНЪ.

На втором столбе:

Что в древность Греция и что могъ Римъ родить,

То хоцетъ Кремль въ своемъ величествѣ вмѣстить.

На третьем столбе:

Дѣланиъ красотой превзойдетъ храмъ Ефескій,

Примеромъ въ зданяхъ пребудетъ дворъ Кремлевскій.

На четвертом столбе:

Пріятнѣй Невскихъ струй Московски потекутъ,

Минервы Росскія жилище будеть тутъ.

Таким образом приготовлено было место и дороги со всходами, где освещение земли торжественно происходило, усыпаны были зеленью и цветами. Накануне 9 Августа, пред которым главноприсутствующий экспедиции строения Кремлевского дворца генерал-поручик Измайлов общим советом первоначальными в Москве Преосвященными Крутицким и Суздальским, положили быть следующей церемонии:

III. По сему положению предписанного 9 Августа по окончании в Успенском соборе литургии, Преосвященный Самуил Епископ Крутицкий и Можайский, Геннадий Епископ Суздальский и Юрьевский, Николай и Афанасий Митрополиты и Иоанн Архиепископ Грузинские, с прочими духовенства чинами, следовали к приуготовленному на освящение месту со крестами, где освятя воду окропление оною делал во первых Самуил Епископ Крутицкий, начиная из середины места ко столбу Европы стоящему на востоке, и продолжая оное оттуда до столба Азии; второй по нем Геннадий Епископ Суздальский окроплял место, начиная из середины ж ко столбу Азии и оттуда по порядку далее. Подобным образом окропление сделали к другим столбам и сторонам Николай Митрополит и Иоанн Архиепископ Грузинский.

IV. По окончании освещения места и по пропетии Ее Величеству обновительнице Кремля многолетия, главный начинающегося Кремлевского нового дворца Архитектор, Санкт-петербургской Императорской Академии художеств Член, Академий же Римския Святого Луки Профессор, Бононския и Флорентинския Академии, и Артиллерии Капитан Баженов, испросив у первоначальствующего Архиерея благословление, окропив святою водою заступ и получив дозволение от Генерал-Поручика Измайлова, пошел из середины места ко столбу Европы, где призвав Создателя вселенныя на помощь, первый по своему званию учинил торжественное начало рву, что самое в то ж время и определенные по всем прочим углам и сторонам его помощники и приготовленные к тому каменщики сделали, с троекратным восклицанием ура...

V. При сем случае были все здесь находящиеся знатнейшие особы и великое множество народа, и у всякого на

лице написана была радость соединенна с желанием счастливого зданию окончания. Единое почти начертание еще места и одним токмо показанным на земле своим пространством приводило всякого зрителя в несказанное удивление. Объяты восхищением к величеству здания и преисполнены усердия к делам Екатерины, все зрители желали вдруг сделать собственными руками наиторжественнейшее начало зиждущемуся строению; чему и подали вожделеннейший для всех пример знатнейшие особы выниманием земли под фундамент.

—VI. К приятнейшему препровождению всего положенного на освящение обновляющемуся Кремлю дня, Генерал-Поручик Измайлов угощал у себя знатнейших из духовных и светских особ обеденным кушаньем, при котором во первых все пили за здравие Ее Императорского Величества, потом за здравие Его Императорского Высочества, желая притом благополучно начатому Императорскому дворцу счастливого совершения.

Прибавление к № 78 Московских Ведомостей за 1772 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ.

Пользуясь теперь свободным временем для писания к вам, опишу вам подробнее образ нашего путешествия. Хотя мы долго уже едем и сия долгота довольно нам приносит скуки, но дорога кажется нам как-то коротка, потому что не более ее видим в день, как одну упряжку, т.-е. послеобеденную, а утреннюю почти всю спим, привыкнув уже к тому, несмотря на все трясение кибитки. Выезжаем мы с квартир очень рано; становимся кормить лошадей часу в 8 или 9 и стоим часу до 1 или второго; в сие время напиваемся мы до-сыта чаю; им одним почти мы и дышем, потом приносят мой пульнет, и я записываю в своем календаре все нужное и замеченное. Там мы обедаем: обеды наши состоят не из пышных яств и соусов, а мы довольны бываем и малым; в дороге как-то очень мало естся, однако, я всегда сыт. Чай заменяет у нас иногда за столом горячее, а прочие блюда состоят в соленом масле, немного нарезан-

ных колбасов и куске разогретой жареной говядины. Признаться, что единообразное, ежедневное повторение сих кушаньев уже очень прискучило. Хозяйские щи очень плохи и нам не по вкусу, хотя мы и пробуем сдобривать их иногда нашими приправами...

Пообедав, мы продолжаем свое путешествие. Упряжки наши состоят обыкновенно верст из 30, а иногда и более. С наступающим вечером становимся мы опять на квартиры: тут не всегда уже пьем мы чай; а смотря по погоде и времени. Ужин у нас всегда очень легкий и состоит в мясной окрошке с квасом да куске разогретого мяса, после чего отходим мы ко сну. Но куда же? Извольте ли знать? Не иначе как в кибитку. Жар в избах, иногда крик ребят и раннее вставанье нас заставили принять сие средство, которым мы очень довольны. Спать нам тут очень спокойно. Мы раздеваемся несколько, нас закрывают кожей, и мы спим столь крепко, что не слышим, как нас со двора свезут и просыпаемся уже дорогою. Для сей причины извозчики наши встают иногда уже с полуночи, и мы едучи потихоньку, перезжаем до-свету уже добрую упряжку. В свое время становимся опять на квартиру и повторяем ежедневно то же. Дорогою же, то есть после обеда, с товарищем своим мне не скучно. Как книги от трясения кибитки читать никак не можно, то занимаемся мы безпрестанно различными разговорами: говорим по-французски, поем от скуки иногда песни и жустарим все по-немногу, накладенные по сторонам нас мешки, разные припасцы, как-те: яблоки, орешки, крендели с товарищи и прочее...

А. Болотов.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЮЖНОЙ СТЕПИ.

... На другой день по приезде (в Херсон) отправился я в канцелярию Адмиралтейс-Коллегии, где получил предписание составить список медикаментов и взять их из аптеки. На третий день я уже был готов со своей аптекой. Мне выдали следующие прогоны и для сопровождения дали двух солдат и одного Русского фельдшера. От Херсона до Новомиргорода, не-

большого городка тогдашней Киевской губернии (впоследствии Вознесенского наместничества, уничтоженного в 1796 году), приходилось ехать пресловутою степью в 400 верст, в которой, по крайней мере в те времена, на пространстве трицати-сорока верст попадалось не более одной самой дрянной, ветхой лачуги, где, кроме водки, нельзя было найти никаких съестных припасов или других удобств. Каждый путешественник должен был запастись в достаточном количестве всем необходимым, чтобы не терпеть нужды. Во всей этой местности не встречается сел, потому что она безлесна и не имеет годной для питья воды.

Мы сделали почти половину пути от Херсона до Новомиргорода по негостеприимной степи; проливной дождь шел до самой ночи и принудил остановиться в одном шинке, ради ночлега или по крайней мере пристанища. Хозяин отвел нам грязную комнату, в которой не было ничего кроме скверного стола, изломанного стула, да скамейки. Не смотря на то, мы приказали взять нашу насквозь промокшую перину и другие необходимые вещи и перенести их в сухое место. Это видел хозяин и спросил нас, не думаем ли мы ночевать. Мы отвечали утвердительно. Тогда он стал говорить, с весьма таинственным видом, что не советовал бы нам оставаться у него на ночь; потому что в степи много разбойничьих шаек, которые, заметив где-нибудь проезжих, не упустят случая напасть и не только ограбить путешественников, но и убить. В подтверждение своих слов он привел несколько примеров, случившихся в соседних шинках. Я поблагодарил его за сообщенные сведения, но сказал, что не боюсь и что у меня достанет храбрости твердо противостать с моими людьми всякому враждебному нападению. Хотя рассказы хозяина были, по моему мнению, просто выдумка, но я, однако, счел за нужное принять некоторые меры. Я дал приказание обоим моим солдатам зарядить ружья; повозку, в которой мы ехали, и повозку с аптекою поставить около дома под окнами и дежурить ночью. Извозчику и фельдшеру я велел лечь на соломе под повозками и дал каждому из них по заряженному пистолету. Сам я, жена и деньщик поместились в доме. Но стража, которой я в случае приближения подозрительных

людей приказал немедленно поднять тревогу, оставалась спокойна. Ночь прошла без малейшей тревоги. Наступивший день светлым безоблачным небом сулил более нам благоприятное путешествие. Мы весело продолжали путь и на девятый день по отъезде из Херсона достигли Новомиргорода. Зеленый лес, множество садов с разного рода плодовыми деревьями и всюду бросающееся в глаза довольство поселян представляли весьма приятное зрелище. И в самом деле, после нескольких дней трудного путешествия через него-степриимную степь, сторона около Новомиргорода с роскошным развитием флоры и фауны должна быть раем для путешественников. Мы не могли не позволить себе отдохнуть денек в столь приятном месте и не подкрепиться горячею пищею, без которой принуждены были обходиться в степи...

Э. Дримпельман.

ИЗ КИЕВА В МОСКВУ.

В трех кибитках быстро мчались мы по снежной дороге. Единообразие зимнего пути меня скоро утомило. Февральское солнце, которое в Малороссии греет сильнее и светит ярче, чем на Севере, и снег, который от него блистал и таял, днем еще кое-как развеселяли мои мысли; но как пришла ночь, я почувствовал тоску необычайную. Даром что я был с сестрой и зятем, и что старший брат провожал нас до первого маленького города Козельца, мне вдруг показалось; что я совсем осиротел: сидя один в кибитке, в потьмах, я не мог заснуть и заливался слезами. Так прошел первый день; следующие были не забавнее.

Мне стало еще грустнее, когда, въехав в Орловскую губернию, в первый раз увидел я себя в черной закопченной избе, куда спаслись мы от мятели и где должен был я ночевать между телятами и поросятами: изнеженному мальчику, каковым был я тогда, это показалось верхом злополучия.

В то время между Малороссийскими городами не было заметно почти никакой разницы. В тех и в других встречались, почти одинаковой величины, чистенькие мазанки, с

чистыми окнами, которые ежемесячно белились свнутри и снаружи. Все они между собою, равно как и от улицы, отделялись садиками, коих высокие деревья осеняли их кровли. что некоторым из деревень давало вид приятных рощей, в коих белелись рассеянные сельские домики. Все показывало, что тут живет народ, который столь же мало знаком с роскошью, как и с нищетой: общество, коего члены были все равны между собою и отличались одними заслугами: оказанными войску, и почестями, личною храбростию или личными достоинствами приобретенными. И потому-то образ жизни помещиков столь же мало разнился тогда от быта крестьянского, как вид городов от наружности селений.

Но коль скоро переедешь за Глуков, картина совсем переменяется: бедность и нечистота деревенских хижин, особенно уже в господских имениях, поражает своею противоположностью с прочностью строений городских. Когда увидел я первые Великороссийские деревни, то полагал, что города немного разве лучше, и оттого не весьма красивый: Севск изумил меня своими каменными палатами. Вслед за тем Орел и, наконец, Тула показались мне столицами.

Москва произвела на меня то действие, которое обыкновенно производят большие столицы на провинциалов, никогда их не видавших, старых ли или малых: я был еще более оглушен ее шумом, чем удивлен огромностью ее зданий. По набожности сестры моей, мы от заставы отправились прямо к Воскресенским воротам помолиться Иверской Богоматери; вокруг часовни, где поставлен ее образ, в двух узких отверстиях, ведущих к Кремлю, безпрестанно кипит народ, ломаются экипажи. Во время молебна мне все казалось, что подле нас идут на приступ...

Ф. Вигель.

НОВГОРОДСКАЯ ДЕРЕВНЯ.

Мы приехали в Новгород в воскресенье и, помолясь в первом храме Божиим, пустились через Ильмень за Ильмень.

И в какой приют привела нас счастливая судьба! Шести лет расстался я с родиною. Быт земледельческий как-будто

заслонен был от нас дремучими лесами, раскинутыми природою по берегам Ореноко. Из-под морозного небосклона вошли мы в просторную избу, чистую, теплую и светлую. Хозяева обедали. Патриарх семьи, старец маститый, сидел у образного киота. По сторонам сидели сыновья, невестки и внучата. Хозяйка была в другом приюте—в тихой могиле. На столе, на скатерти белой, как снег, дымилась чаша со щами и лежали пироги, светящиеся отливом яхонтов. Все, говоря нынешнем словом, все обличало тут обилие привольной сельской жизни; и ласковый, радушный хозяин пригласил нас к трапезе своей. Старший наш брат отнекивался: а мы с добрым позывом на пищу, и с простосердечием юношеских лет приняли привет без всех околичностей. Приказав своим отодвинуться, хозяин усадил нас подле. Тут и в памяти, и в душе моей откликнулись стихи, напечатанные в тогдашнем московском журнале:

Русь блаженная стократно!
Как душе моей приятно,
Что в родной стране моей
В селах можно с счастьем знаться,
С ним в углу твоём встречаться!

Не знаю, что понравилось в нас гостеприимному нашему хозяину; то ли, что смотря на нас, юношей, он припоминал свои весенние дни, или наше простосердечие, но у него от избытка сердечного лился разговор...

Выезжая из сельского гостеприимного приюта нашего хозяина, мне казалось, что выезжаю из страны счастливой Аркадии. После уже я читал, что датчанин Флеминг, бывший в России при царе Михаиле Феодоровиче и проживший некоторое время в селениях новгородских, говорит, что он встретил там и Аркадию, и мир патриархальный, где душа и сердце обнимались с чистою совестью. Дары душевные наш хозяин заимствовал не из преданий—они были его собственностью. В силу требований нынешней статистики, мне бы следовало означить и урочище приозерное и имя хозяина, но весь письменный мой запас остался в стенах нашего училища. Не было у меня ни карандаша, ни записной книжки, Все тогдашнее мое сокровище состояло в „Вадиме“

Княжнина, в „Путешествии из Петербурга в Москву“, наделавшем тогда много шума, а теперь уснувшим сном непробудным, и „Чувствительном путешествии“ Стерна, в котором сердце и мысль всегда что-нибудь отыщут. С этим запасом и с мечтами романической юности ехал я на родину. Но чем более отдалялись мы от жилища нашего прильменского гостеприимца, тем более казалось, что мы заезжаем в какие-то дымные, курные дебри. Это бедные хижины. Войдем. Двери настезь; с двух сторон прорубы, названные окнами, открыты; сверху, в отверстие трубы, бьет дым и заполняет избу. Ветер разгуливает в стенах, дымная мгла слепит глаза. Это было еще ничего, но тут и колыбели младенцев, тут и животные, гнездящиеся по углам или расхаживающие по тинистому полу, зараженному тлетворною сыростью. Некоторые предполагают, что в хижине, отданной на произвол смрада и дыма, ходячий ветер прочищает воздух. Но каково пришельцам колыбельным в этом дымном мире! Не того же лал Петр I. В одном из достопамятных указов своих он предписывает, чтобы избы одну от другой разделять садами и в охранение от пожарных случаев, и для соблюдения чистоты, необходимой для здоровья. И Екатерина II, рассуждая о том, отчего у крестьян от двадцати и пятнадцати детей едва ли остается четвертая часть, говорит: „Должен быть тут какой-нибудь порок или в пище, или в образе их жизни, или в воспитании, который причиняет гибель сей надежды государства. Какое цветущее состояние было бы России, еслибы могли благоразумными учреждениями отвратить или предупредить сию пагубу“.

Следственно, по мнению Екатерины, и для крестьян необходимо воспитание, охраняющее душевные и телесные способности. Но какое впечатление производили над нами эти приюты бедноты, это высказать не могу! На покормке лошадей мы шли на улицу на борьбу с морозом, чтобы не глотать тлетворных испарений. Тут встречали мы мальчишек, бегавших и подле, и мимо нас в скудных лохмотьях. С плеч наших порывались к ним наши легкие тулупы; но других у нас не было, и мы по неволе укрощали стремление сердечное; зато тайком вытаскивали из наших чемоданов то чулки,

то платки, торопливою рукою раздавали мы и то, и другое; еще торопливее бросались они к нашим подаркам: и когда садились мы в кибитку и трогались в путь, они бежали за нами с восклицаниями: „Благодарим вас!“ И это слово громко откликалось в душе нашей. По приезде на родину, когда старший наш брат должен был представить опись во всем выданном нам, мы чистосердечно покаялись родительнице нашей в похищениях наших у нас самих. Она поцеловала нас и перекрестила...

Как бы то ни было, но и тогда я заметил, что у жильцов этих дымных приютов есть какая-то речь самобытная и сильные обороты в выражении мысли. Наставники их—природа, сердце и здравый смысл, а нередко и горе жизни. В наш девятнадцатый век оповестили, что нет девяти муз, но есть одна только муза—скорбь душевная...

С. Глинка.

ПРАВЫ В МАЛОРОССИИ В СРЕДИНЕ XVIII ВЕКА.

Общце моей отчизны нравы.

В сие время малороссияне жили только между собою; кроме греков и поляков иностранцы им вовсе не были известны; даже с великороссиянами почти не имели сообщения, почему нравы их были также ни худшие, ни лучшие. Злодеяния, каковы: убийство, разбой, грабеж и проч. весьма были редки. Пороки: пьянство можно бы почесть всеобщим, поелику не только мужчины, даже женщины в лучших домах пили водку, наливку и пр., но напиваться до забвения почиталось зазорным, и истинные пьяницы всеми были презираемы. Скупость, родная сестрица расчетливости, родственница бережливости, свойственница хозяйства, довольно была у соотчичей моих приметна, но скряжничеством или лихоимством, кажется, они душевно гнушались. Тяжбы и ябедничество были весьма употребительны и преимущественно между шляхетством. Ссоры и драки у простолюдинов случались, но не продолжительные и неувечные, ибо наиболее разделялись чубами; забиячества же были редки. Явная распуста

была строго наказываема; волокитство, ежели сим именем назвать жениханье, было терпимо в простом народе, но никогда почти не простиралось до порочного и по большей части имело в виду супружество.

Сказавши худое, справедливость требует молвить сколько-нибудь о добре. Добронравие малороссиян обнаруживалось разительно тем, что они в сие время имели уже общее мнение, т.-е. не только злодей, порочный, даже своевольник, были у всех и каждого в омерзении; начинающего сочлена беспутствовать каждый отец семейства считал своим долгом уговаривать, оговаривать, стыдить, унимать и, в случае не успеха в том, по крайней мере, искренно отвергать ¹⁾. Дети у родителей были в полном повиновении, простиравшемся так далеко, что ни лета, ни звание не освобождали от оного; сие, за смертью родивших, относилось к старшим родственникам. Молодые люди обязаны были почтением всем вообще старикам. Вот черты, коих я, по выезде моем из отчизны, нигде не приметил, и противодействия коим с первых дней для меня были крайне удивительны, даже несносны. Странноприимство и гостеприимство во всей Малороссии были исполняемы с истинным усердием и удовольствием. Супружеское состояние было безпорочно, надежно и тем похвальнее, что жены полновластны во внутреннем хозяйстве и в своем поведении. Откровенность и дружелюбие были общи всему народу. Праздничать, веселиться, петь, плясать—все любили; музыку умели чувствовать. Наряжались охотно; чистота и опрятность жилищ были повсеместны. Женщины, как и повсюду, убранством старались усилить свои прелести: но поддельных нигде не терпели, и набеленная, нарумяненная обегаема была...

К вере малороссияне все имели душевное прилепление, и по причине, что тамошнее священство было довольно просвещено, нужнейшие члены закона и церковное служение

¹⁾ Дающих пристанище вора́м и заведомо принимающих краденое. законы наказывают равно с преступником, в справедливом смысле: „ежели б некуда было сбывать краденого, на что воровать?“ Обратите сие правило на злочинец, кипящих теперь в обществах; авось и они подумав: „к чему злочинствовать?“ уймутся хоть трохи.

каждый знал основательно. Сие, я думаю, воспрепятствовало завестись у них разнотолковщине или бестолковым расколам. В храмы ходили охотно, привлекаемые нарядным служением и согласным пением. Но, суеверие?.. Увы! сие адское детище и в благословенной Малороссии было почти повсеместно...

Г. Винский.

НОВЫЕ ГОРОДА И ПЕТЕРБУРГ.

В Петербургском альманахе перечислены двести сорок с чем-то городов, основанных Екатериной: их было, пожалуй, больше, чем разорили ее войска; но эти города лишь жалкие деревнюшки, произведенные ею в города *именным указом*, высочайшим повелением ее императорского величества, приблизительно так же, как позднее Павел повелел называть яхту фрегатом ¹⁾. Часто вместо города стоит один столб, на котором обозначено название и место: в ожидании постройки и, главное, заселения, они фигурируют только на картах России ²⁾.

Правда, кн. Потемкин велел настроить настоящие города и устроить порты в Крыму: это все очень красивые клетки, но в них нет еще птиц; те же, которых туда заманили, быстро умирают от горя, если им не удастся упорхнуть. Русское правительство действует, как угнетатель и завоеватель; а русские, как воители и опустошители—со времени покорения Таврида опустела.

¹⁾ Он действительно так поступил.

²⁾ С большими расходами велела Екатерина выстроить около Царского Села огромный город Софию; дома в нем уже разваливаются, но в них никогда не жили. Если такова участь города, выстроенного у нее на глазах, какова же должна быть участь тех городов, которые она закладывала в отдаленных, необитаемых местах. Самый же смешной из существующих городов—несомненно основанная Павлом Гатчина. Такие основатели считают людей за аистов, которых подманивают, положив колесо на крышу или колокольню. Начиная с великолепного Потсдама и кончая смешной Гатчиной, все эти принудительные построения доказывают только, что истинные основатели городов—культура, торговля и свобода; а деспоты их разрушители; они умеют строить и населять одни тюрьмы и казармы.

Эта мания Екатерины многое начинать и ничего не кончать отмечена острым словцом Иосифа II. Во время их путешествия в Тавриду, торжественно заложив первый камень города *Екатеринослава*, она предложила ему заложить второй. Вернувшись, Иосиф говорил: Мы с русской императрицей в один день сделали большое дело: она заложила первый, а я последний камень целого города.

Молодой трудолюбивый ученый ливонец, г-н Шторх, написал ненужную работу: *Картина Петербурга*; она так же похожа на Петербург, как портрет, сделанный Лампи, похож на Екатерину. Она исполнена по-китайски, без теней, чего боялся и сам автор. Беда в том, что Шторх не мог писать ее вне России, иначе она была бы совершенной. Он посвятил свою работу Екатерине, вознаградившей его за льстивое описание. Позднее он попал в немилость за то, что для другой своей работы, писанной по-немецки, избрал французский шрифт, это—*Статистические Картины*, дающие очень точные сведения о состоянии России...

Так как в Петербурге живут колонии различных национальностей, то нравы и обычаи его обитателей очень разнообразны. Обыкновенно не знаешь, какой тон и какая мода там господствуют. Французский язык служил связью между различными народностями, но там говорят также и на других языках. Если собирается многочисленное общество, то говорят по очереди на трех языках: русском, французском и немецком, но не редкость в том же обществе услышать, что греки, итальянцы, англичане, голландцы и азиаты говорят на своих языках.

Немцы в Петербурге—художники и ремесленники, главным же образом портные и сапожники; англичане—седельники и торговцы; итальянцы—архитектора, певцы, продавцы картин и т. д., но трудно сказать, что представляют из себя французы. Большинство меняет звание ежегодно, приехав лакеем, он делается учителем, а потом советником; его видишь то актером, то гувернером, торговцем, музыкантом, офицером. Нигде так ясно не увидишь, насколько француз непостоянен, предприимчив, изобретателен и способен ко всему.

Чтобы узнать нравы и характер каждой группы, надо проникнуть в дома,—на улицах живут по-русски. У французов забавляются шарадами, весело ужинают, поют кое-какие забытые еще водевили; у англичан обедают в пять часов, пьют пунш, говорят о торговле; итальянцы занимаются музыкой, танцами, смеются, жестикулируют; их разговоры вертятся на спектаклях и искусстве; у немцев беседуют о науках курят, спорят, много едят и говорят друг другу комплименты во всю; у русских все вперемежку и надо всем царит игра; она—душа их общества и их веселья, но они не чуждаются и других развлечений. Иностранец, особенно француз, бывает изумлен и восхищен, когда, после плавания вдоль неприятных берегов Пруссии и после переезда через дикие поля Ливонии, он вдруг среди обширной пустыни попадает в огромный, великолепный город, находит общество, удовольствия, искусство и вкусы, которые, как ему казалось, существуют только в Париже.

При таком климате, как петербургский, где только несколько недель радуешься хорошей погоде, при таком правительстве, как русское, которое не дает заниматься ни политикой, ни этикой, ни литературой, удовольствия общества ограничены и домашние радости усовершенствованы. Роскошь и изысканные удобства, пышность и вкус помещений, изобилие и утонченность стола, легкость и фривольность разговоров вознаграждают там веселого человека за те стеснения, в которых природа и правительство держат его душу и тело. Танцы, игры следуют друг за другом: каждый день может быть праздником: в большом доме он встречает произведения всех искусств и стран и часто даже в разгар морозов сады и весенние цветы.

К. Массон.

КИЕВ.

В России есть губернские и уездные города; в числе тех и других есть такие, кои должно назвать казенными, потому что в них встречаются по большей части одни только должностные лица; помещики же бывают в них только

иногда, по делам. В них беспрестанно меняется картина общества, которая через десять лет, можно сказать, возобновляется во всем своем составе. Киев более чем всякий другой принадлежал к числу сих казенных городов.

Малороссия, которая ныне разделена на две губернии, Черниговскую и Полтавскую, тогда составлена была из трех: Киевской, Черниговской и Новгородско-Северской; большая часть нынешней Полтавской губернии составляла тогдашнюю Киевскую. Жители Черниговских уездов, а еще более Новгородско-Северских, сохранили или приняли много русских навыков, бывши неоднократно под владычеством Московских государей; жители же южной Малороссии остались почти такими же казаками, какими были при Хмельницком. Богатейшие из тогдашних Киевских помещиков редко покидали свои хутора, с крестьянами своими, кои лет десятка два-три перед тем были им равными, имели одинаковые вкусы, одинаковые обычаи, одинаковую пищу, также всему предпочитали борщ и галушки, столь же нежно любили свиней, в одежде сохранили ту же Запорожскую неопрятность. Их губернский город был за Днепром, почти в ненавистной им Польше и со времен Петра Великого в них беспрерывно начальствовали Москали и Немцы. Они чуждались его, хотя в нем ни язык, ни происхождение простого народа им вовсе не были чужды; однакоже в последние годы царствования Екатерины, то обязанные служить по выборам, то привлекаемые приятностями общежития, они начали чаще и в большем количестве появляться.

В изображении лиц, составлявших тогдашнее Киевское общество, должен буду я следовать, так сказать, иерархическому порядку мест, ими занимаемых, и потому должен начать с губернатора или правителя наместничества, как Екатерина Вторая, сия Немка, страстная ко всему Русскому и вводившая везде Русские названия, повелела им именоваться.

Тогда управлял Киевским наместничеством осьмидесятилетний, полумертвый старец, Семён Ермолаевич Ширков, старший генерал-поручик по армии, в польской ленте Белого Орла. Он разрушался, но все упрямялся оставаться на губернаторстве; наконец, его уволили с честью и пенсией. Об нем

самом осталось у меня самое тусклое воспоминание, но мне очень памятли почести, ему воздаваемые. Из уважения ли к его глубокой старости, или следуя чиновочитанию, которое в то время строго соблюдалось, мой отец всегда на крыльце его встречал и до крыльца провожал. Его довольно любили, но семейство его было самое странное; вообще весь этот род Ширковых, Курских помещиков, как прежде, так и после, имел весьма худую славу; членов его обвиняли в насилиях, убийствах, кровосмешении, разного рода преступлениях, из коих некоторые были доказаны по делам. Так как семейство сие недолго при нас оставалось и я чуть его помню, то и почитаю себя в праве не входить в описание всех ужасов, кои слышал я после о сих Русских Атридах.

После Ширкова был губернатором Василий Иванович Красномилашевич, Смольянин, человек умный и приятный, израненый, известный храбростью генерал, который и на гражданском поприще умел показать усердие и способности. Он был холост и не слишком богат, следственно и не мог иметь открытый дом, однакоже несколько раз в год давал балы. О вице-губернаторах или поручиках правителя я уже говорил.

Из губернских предводителей мне памятен Демьян Демьянович Оболонский, человек уже пожилой, но еще видный и здоровый. Он имел семь или восемь тысяч душ и жену красавицу и кокетку¹⁾. Тем и другой он чрезвычайно гордился; а последнюю гордились или, лучше сказать, хвалились еще и другие. Он летом обыкновенно жила в деревне, а только по зимам приезжал, как он говаривал, покормить бедняков. Действительно, говорят, у него стол не накрывался, а не раскрывался: целый день пили и ели: завтрак оканчивался водкой, за которой непосредственно следовал продолжительный обед: после обеда закуски или заедки, как их называли, не сходили со стола; после чаю было кратковременное отдохновение, и все это заключалось столь же изобильным ужином. Ну, уж желудки были в старину! Два раза в неделю пировал у него весь город; по тогдашнему обычаю, все съезжались перед

¹⁾ Она была родная тетка известного Якубовича.

обедом и разъезжались после ужина. Меня как-то раз взяли с собой на один из сих вечеров. Вот что я нашел: две приемные комнаты, длинную и низенькую залу и гостинную немного ее поменьше, обе оклеенные самыми обыкновенными бумажными обоями и освещенные довольно плохо, однакоже восковыми свечами, что тогда почитались роскошью; все мебели простого дерева, обитые разноцветными ситцами; и посреди такой простоты, на карточных столах шандалы, а по углам канделябры, литые, тяжеловесные, серебряные, а иные позолоченные; целый полк слугителей, не совсем худо одетых, на огромных серебряных подносах разносящих питья и яствы. Жена г. Оболонского носила бриллианты, жемчуги и богатая платья, из которых каждое, однакоже, в зиму раз по десяти или по пятнадцати, без всякой на нем перемены, появлялось на балах. Из всех Малороссийских помещиков, исключая Разумовских, один Оболонской позволял себе так жить. Но вся эта роскошь, как можно видеть, была весьма не разорительна, тем более, что цены на съестные припасы были самые низкие. Имение свое оставил он по смерти в целости, без долгов, единственному сыну своему, нерасчетливому, необузданному, сластолюбивому, который начал жить в прихотливый век и предаваться всем прихотям своим, который, гнушаясь вандальским гостеприимством отца, составил себе в Петербурге избранный круг повес и с ними, не видимым образом, умел промотать не только отцовское наследие, но и другие ему доставшиеся, во Французских трактирах на Страсбургских пирогах и Шампанском вине. Вот у нас в России постоянный ход просвещения.

Я часто говорил о Киевских балах, не описав ни одного из них, тогда как имею к тому возможность, каждую неделю видевши их у себя дома; ибо детей не только не отсылали к себе в комнату; но даже иногда возили их с собою в чужие дома. Они начинались редко после семи часов вечера. Хозяин дома открывал их обыкновенно польским¹⁾ с почтеннейшею из дам; мужчины выступали важно, выделявали па, меняли

¹⁾ Любимый Польский был тогда сочинения, кажется, Козловского; он был известен под названием: „слався сим Екатерина“, по первым словам, на кои он был положен. С какою-то восторженною гордостью ходили тогда Русские под гремящие его звуки.

руки, и этот церемониальный марш продолжался не менее получаса. Потом начинались англезы или контрдансы, как их называли; ряд мужчин становился против ряда женщин. Старались сколь можно более разнообразить фигуры и самые названия сих контрдансов: одному дано было имя Данилы Купера, вероятно в честь композитора его, какого-нибудь Англичанина, Соорег; другому имя Березани, в честь какой-то победы над Турками, еще другие назывались Соваж, Pégigé vaïси, Английский променад. О мазурке и крокавяке и слуху еще не было, хотя мы жили в двух шагах от Польши: также о матрадуре и тампёте, которые гораздо новейшего изобретения. Вместо Французской кадрили танцовали какой-то монюмаск, а потом чего уже не было! Наскучив веселыми звуками, принимались иногда за менуэты, а там за аллеманд, и в нем особенно отличался один немец, полусумашедший нарумяненный доктор Шёнфогель. Кто бы мог подумать: вальсов еще не знали. На сих балах можно было видеть и Малороссийскую метелицу, и голубца, и казачка; плясали и по-русски, и по-цыгански, кто во что горазд. Как сии балы всегда должны были начинаться Польским, так непременно должны были оканчиваться алагреком, который не что иное был как нынешний, чуть ли не покойный гросфатер.

Когда пожилые мужчины не волнуются страстями, когда их не мучат ни чрезмерная алчность к золоту, ни зависть, ни пожирающее, беспредельное честолюбие, когда они блаженствуют под сению мудрого и твердого правительства, которое равно охраняет безопасность и не допускает возможности преступных, дерзких замыслов: тогда, спокойные духом, они делаются почти молоды и готовы иногда резвиться как дети. Молодые же люди всегда расположены к веселости, лишь бы имели благоразумие не отказываться преждевременно от юности, блага невозвратного. Таковыми были почти все тогда в Киеве. У одного князя Дашкова начинался новый век: у него были уже трубки, и пунш, и смелое обхождение без разбора лет и пола; но за то от дома его бежали, как от заразы. Беззаботная же, непринужденная, хотя и пристойная веселость, коей предавались в описываемых мною собраниях люди разных возрастов и состояний, делала всю пре-

лесть старинных наших балов. Коноводом на них был шестидесяти-семилетний старик-Немец, артиллерийский генерал Нилус, отец моего товарища; он распоряжал танцами, приказывал музыкантам и с неимоверною живостию плясал весь вечер до упаду. Надобно знать также, что он был подагрик; когда сия мучительная болезнь его удерживала дома, то отсутствие его было очень заметно, и веселость уменьшалась на вечеринках; но лишь только немного отпустит ему, он опять явится в бархатных сапогах, и уже сидя, взором, криком, движением, хлопаньем возбуждает танцующих. Все, кои не были записные бостонисты, несмотря на лета, участвовали в танцах, и от старика Нилуса до меня, осьми или девятилетнего мальчика, неудачного ученика г. Потò, все бывало в движении. Одного отца моего, не знаю почему, исключая Польских, я никогда не видал танцующим...

Ф. Вигель.

ЖИЗНЬ В ПРОВИНЦИИ.

Последние два года моего отрочества протекли более в городе. Я уже находил удовольствие бывать чаще с моими родителями, особенно когда у нас случались гости, и вслушиваться в их разговоры. С гордостью могу сказать, что я вырос и состарился под шумом отечественной славы. Находясь в Казани, еще семилетним мальчиком, я выбегал на нашу Сарскую улицу, смотреть на проходящие отряды пленных польских конфедератов. Уже тогда затвержены были мною имена Пулавских, Потоцких и проч. С переселением нашим в Симбирск началась война с Оттоманскою Портою. Отец мой, получая при газетах реляции, всегда читывал их вслух посреди семейства. Никогда не забуду я того дня, когда слушали мы реляцию о сожжении при Чесме турецкого флота. У отца моего от восторга перерывался голос, а у меня навертывались на глазах слезы. Симбирские обыватели, сколько я могу судить по воспоминаниям, наслаждались тогда совершенною независимостью: от дворянина до простолюдина, никто не нес другой повинности, кроме поставки в очередь свою buttoшника, и, по временам, военного постоя. Последний

мещанин или цеховой имел свой плодovitый при доме садик, на окне в бурачке розовый бальзамин и ничего не платил за доскуток земли, доставшейся ему по купле или от прадеда. Заграничные товары были дешевы: например, фунт американского кофия—кто ныне тому поверит?—продавался по сорока копеек. Рубль ходил за рубль; серебра было много, а об лаже на звонкую монету и ассигнации даже и понятия не имели. Первенствующие особы в городе были: комендант, начальник гарнизонного батальона и воевода, первоприсутствующий по гражданским делам. Дворянство знало и уважало их по мере личных достоинств. Тогда еще не было в провинциях ни театров, ни клубов, которые ныне и в губернских городах разлучают мужей с женами, отцов с их семейством. Тогда едвали кто понимал смысл слова: рассеяние, ныне столь часто употребляемого. Каждый имел свои связи не от трусости, не из корыстных видов, а по выбору сердца. Таким образом жил и отец мой.

Почти ежедневное общество его состояло из трех коротких приятелей, умных, образованных и недавно покинувших столицу. Между ломбером, любимую тогда игрою, и ужином оставалось еще довольно времени для разговоров. Я бывал, так сказать, весь внимание. Всякий вечер получал новые сведения; слушал о бывшем итальянском театре Локателлия и Бельмонти; о игранных на нем интермедиях и больших операх; о игре Дмитревского и Троепольской; часто воспоминаемы были анекдоты о соперничестве Ломоносова с Сумароковым; о шутках последнего на счет Третьяковского; судили об их талантах и утешались надеждою, которую подавал тогда молодой Д. И. Фонвизин, уже обративший на себя внимание комедией: „Бригадир“ и „Словом по случаю выздоровления Наследника Екатерины“. Иногда разговор нечувствительно принимал тон важный: сетовали об участи Москвы, где свирепствовало моровое поветрие; судили об мерах, принимаемых против него светлейшим князем Орловым или с таинственным видом, вполголоса, начинали говорить о политических происшествиях 1762 года; от них же восходили до дней могущества принца Бирона, до превратности счастья вельмож того времени, до поразительного видения императ-

рицы Анны и пр. и пр. Таким образом, еще на двенадцатом году моей жизни, я набирался сведениями для меня не бесполезными...

И. Дмитриев.

П Е Н З А.

Некогда слобода, а со времен царствования Алексея Михайловича провинциальный город, Пенза состояла тогда из десятка не весьма больших деревянных господских хором и нескольких сотен обывательских домиков, из коих многие были крыты соломой и имели плетневые заборы. Соборная каменная церковь, которая величиною едва ли превосходила многие сельские храмы, с тех пор построенные, и несколько каменных и деревянных небольших приходских церквей, служили единственным ей украшением. Чтобы судить о неприхотливости тогдашнего образа жизни Пензенских дворян, надобно знать, что ни у одного из них не было фаянсовой посуды, у всех подавали глиняную, муравленую (за то человек хотя несколько достаточный не садился за стол без двадцати четырех блюд, похлебок, студеней, взваров, пирожных). У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца тысячи душ, более других гостеприемного и роскошного, было с полдюжины серебряных ложек, их клали пред почетными гостями, а другие должны были довольствоваться оловянными. Многочисленная дворня, псарня и конюшня поглощали тогда все доходы с господских имений.

Двадцать лет спустя, когда, при учреждении губерний, Пенза возвышена была на степень губернского города, в ней все переменялось. Правильные улицы, и из них иные мощенные, украсились каменными двух- и трех-этажными домами и каменными лавками, а в них показались товары, кои прежде, хотя с трудом, можно было только выписывать из Москвы; явилась некоторая опрятность, некоторая бережливость, некоторый вкус—необходимые спутники просвещения. Перемена во всей России шла гораздо быстрее, чем при Петре Великом и без пыток, без насилий. Гений и улыбка Екатерины творили сии чудеса. Железная трость Петра Великого, пере-

ходя из рук в руки, обратилась в магический жезл, как скоро коснулась ее сия могущественная очаровательница. Сия новая Цирцея хотела и умела скотов обращать в людей...

Ф. Вигель.

НИКОЛАЕВ В 1788 г.

20-е Мая 1788 года было тем вожделенным днем, когда мы проехали степь и стали приближаться к месту нашего назначения—Николаеву. Но как сильно я был удивлен, когда извозчик, которого я порядил из Елисаветграда, вдруг остановился и, хотя я не видел ничего кроме отдельных хижин из тростника и часовых, объявил мне, что тут и есть Николаев. Мне показалось это тем невероятнее, что еще два года тому назад я слышал, что основывается на Буге новый город, который будет носить имя Николаева. Что же могло быть естественнее, как предполагать и ожидать здесь домов и жителей. В приказе кригс-комисару Плетневу значилось, что по прибытии в Николаев я должен явиться к бригадиру Фалееву. Ближайшее осведомление у часовых показало, что слова извозчика были справедливы и что я действительно нахожусь в Николаеве. Более обстоятельная справка о том, где я могу найти больных солдат и где отыскать дом бригадира, показала мне, наконец, что я должен ехать еще пять верст, чтобы найти тех людей, которые были виновниками моего странствования. Я тотчас же отправился в путь. Проехав почти полдороги, я увидел место, где находились помещения для больных и жил бригадир. Это место называлось „Богоявление“ и состояло из 16 крытых тростником деревянных жилищ, устроенных на подобие госпиталей и из множества палаток и Татарских войлочных юрт. Сверх того несколько жилищ были выкопаны в земле, едва выдавались из нее, но имели своих обитателей. На основании писем к прежнему моему начальнику кригс-комисару Плетневу, я мог предполагать, что здесь находится уже много врачей; от них я охотно узнал бы о состоянии и положении больных, лечением которых я должен был заняться. Встретившийся мне какой-то немец, кото-

рого я просил указать жилище кого-нибудь из врачей, не мог ни в чем быть полезен, кроме того, что указал жилище аптекаря, которое, по его словам, находилось недалеко, на одном возвышении. Я отправился туда, но, говорю не шутя, я стоял уже на крыше искомого дома, не подозревая, что под моими ногами могли жить люди, до тех пор, пока выходящий из отверстия дым и дверь, которую я приметил на склоне холма, не показали мне, куда надо идти. Я подошел к замеченной двери. Она открылась, и оттуда вышел небольшой, сторбленный человек. Это и был аптекарь. Мы удивились, увидав друг друга, и точно старались признать один другого. Это действительно так и было: едва мы назвали себя по именам, как оказалось, что мы были уже знакомы десять лет тому назад в Кронштадте. Он ввел меня в свое жилище, которое, кроме темной прихожей, состояло еще из двух отделений, из которых одно было отведено для его семейства, а другое под аптеку. Внутренность жилища соответствовала его внешности. Стены обмазаны желтою глиною, потолок сделан из плетеного тростника, засыпанного землею, крошечные окна с дрянными стеклами пропускали слабый свет во внутреннее пространство. Подобным же образом устроены и все остальные жилища. Печальны были следствия житья в такой землянке, особенно для семейства аптекаря: едва я вошел в комнату, как увидел, что жена его и пятилетняя дочь находятся в последней степени чахотки. Вскоре они слегли. Расспросам не было конца. Аптекарь рассказал мне, что вскоре после нашей разлуки он получил от начальства приказ открыть общественную аптеку в Иркутске и что из уважения к оказанному доверию ему нельзя было долее откладывать поездки, как ни было затруднительно с женою и малютками предпринять столь далекое и само по себе нелегкое путешествие. Он намеревался было обстоятельно рассказать мне о разных своих лишениях на пути в Иркутск, о том, как он все-таки счастливо прожил там три года и по какому случаю попал сюда в Богоявление; но я заметил ему, что моя жена с ребенком и экипажем дожидаются на улице, и я должен, не теряя времени, явиться к бригадиру Фалееву и просить его о квартире для себя.

„У вас также жена и дочь?“ спросил аптекарь. „В таком случае я жалею, что судьба вас привела в это злополучное место. Приведите вашу любезную супругу в нашу хижину; пусть она побудет у нас, покуда вы устроите свои дела и снова можете быть у нас“.

Привезя жену в дом гостеприимного аптекаря, я отправился к бригадиру Фалееву, дом которого мне пришлось искать не долго, потому что он отличался от прочих стенами, выкрашенными красною краскою, и черепичною крышею. В бригадире я нашел дородного мужчину, одетого в зеленый камчатый халат, в голубой атласной, обшитой черною каймою шапочке, на верхушке которой блестела серебряная весом в несколько лот кисть. Бригадир вооружен был длинною трубкою и занимался чаепитием, сидя на софе. Я счел долгом рекомендоваться ему, чтобы показать, как точно исполнил его приказ и поручить себя благосклонности господина бригадира. До сих пор все шло хорошо; но когда я решился просить о квартире, на случай, если я долго останусь в Богоявлении, о квартире, без которой я, имея семейство, не мог существовать, он с некоторым затруднением ответил мне, предлагая чашку чаю.

„Да, да! квартиру, любезный друг! Вот именно этим-то и не могу я служить вам. Две войлочные палатки, которые лежат еще в магазине, к вашим услугам, и вы ими можете обойтись, покуда я буду в состоянии отвести вам лучшее помещение“.

На прощаньи господин бригадир дал мне совет относительно больных явиться к штаб-доктору Самойлову, который сообщит мне обстоятельные сведения о предстоящих занятиях.

Мое пребывание в Богоявлении продолжалось недолго. Число больных, которое я представлял столь значительным, вовсе не было таково и вполне могло удовлетвориться одиннадцатью врачами и хирургами. Я получил приказ отправиться в Николаев и там оставаться. По распоряжению Херсонской Адмиралтейс-Коллегии, несколько сот человек плотников, архитекторов и их помощников, было командировано туда для постройки несколько уже лет тому назад проекти-

рованного нового города. Я и должен был находиться при этом, на случай могущих быть несчастий. Доселе ни одно человеческое существо не могло жить в этом месте, где в несколько месяцев возник город, который уже в первые годы своего существования обещал счастливое процветание и где теперь селятся люди всех стран. Вокруг все было пусто. Единственные живые существа, которых здесь можно было встретить—были змеи. Хотя укушение их и не опасно, однако они были неприятны и страшны для людей тем, что проникали в жилища, плохо построенные из тростника и досок. В нашу тростниковую хижину, в которой нам пришлось провести первую ночь по приезде в Николаев, напозло множество этих гадин. Хотя мы из предосторожности устроили постель на четырех высоких кольях, но это нисколько не помогло: змеи поднимались вверх и, почуяв людей, с отвратительным шипеньем переползали через нас на другую сторону кровати и уходили. Постоянное отыскивание и истребление их в короткое время привело к тому, что во всем Николаеве нельзя уже было встретить их вовсе, или разве какую-нибудь одну змею. Постройка нового города шла вперед с изумительной быстротою: в тот год, когда я жил здесь, выстроено было более полутора ста домов. Лес и другие строительные материалы доставлялись в изобилии на казенный счет по Бугу и продавались весьма дешево как чиновникам, так и другим лицам, желавшим здесь поселиться. Только каждый строивший обязан был строго сообразоваться с планом, по которому город должен был постепенно возникать. Число жителей, собравшихся из разных частей государства, доходило в 1789 году, когда я покинул Николаев, до двух с половиною тысяч.

Э. Дриммельман.

ЧУМА В ХЕРСОНЕ.

Мы приближались к месту нашего назначения—Херсону; но вести, которые получались отовсюду о состоянии здоровья тамошних жителей, не могли заставить нас радоваться окончанию путешествия. Еще в Чернигове говорили, что в Хер-

ссоне свирепствует какое-то злокачественное поветрие. В Кременчуге нам подтверждали это известие и прибавляли, что, по достоверным сведениям, в Херсоне действительно распространилась чума и в короткое время похитила несколько сот человек. Можно себе представить, каково было тем, которые, достигнув цели своего странствования, должны были идти навстречу почти неизбежной гибели.

Команда наша, пробыв в дороге целых два месяца и пройдя, от Петербурга, 1.800 верст, прибыла, наконец, в Херсон. Уже за несколько верст до самого города дым и пар, застилавшие на большое пространство небосклон, не предвещали ничего хорошего. Чем дальше мы подвигались, тем грознее становилось зрелище. Повсюду нагроможденные кучи всякого рода мусора, который надо было поддерживать в постоянном горении, чтобы посредством дыма и пара скольконибудь отнять у зараженной атмосферы злокачественную силу. Но все это нисколько не помогало; чума продолжала свирепствовать среди несчастного населения Херсона. Мои спутники—команда моряков и рекрут—вступили в город. Был сделан смотр, и солдат разместили по квартирам. Меня назначили в устроенный в двух верстах от Херсона и определенный для приема зараженных карантин, в котором уже погибло несколько врачей. Здесь увидел я страдание, отчаяние и уныние среди нескольких сот людей, положение которых настоятельно требовало сочувствия того, кто едва был в состоянии подать им помощь. Им нельзя было и помочь, так как болезнь уже слишком развилась. Мои молодцы-рекруты, хотя большинство их прибыло в Херсон здраво и невредимо, все почти перемерли. Прибытие их совпало как раз с тем временем, когда поспевают арбузы, дыни, огурцы и другие произведения полуденной России; они продаются на Херсонском базаре в бесчисленном множестве и по невероятно дешевой цене. Прелесть новизны и приятный вкус этих продуктов соблазняли новичков. У них началась диаррея, которая в соединении с постигшею их чумою неминуемо должна была приводить к совершенному истощению.

Отведенное мне при карантине помещение, как и самое здание для приема больных, было такое же, что и у всех

служащих, т.-е. вырытая в горе землянка, которая для защиты от ветра и непогоды была покрыта камышем и землею. Деревянные рамы, затянутые масляною бумагою, служили окнами. В самом карантине ежедневный список умерших был не мал. Он умножился от прибавления тех, которые умирали в городе на своих квартирах. Сверх того нередко случалось, что заразившиеся и захворавшие люди умирали внезапно, и потому были определены арестанты, называемые по русски каторжниками, которые каждый день ходили по улицам с тележкой, чтобы подбирать попадавшиеся трупы и погребать их вне города на отведенном для того месте. Чтобы через них не распространилась как-нибудь зараза, один из каторжников должен был носить впереди тележки белый флаг на палке так, что при его появлении каждый во-время мог сворачивать в сторону.

Целые два месяца этой службы при карантине я находился в добром здоровье, употребляя все известные мне предосторожности, чтобы и впредь иметь возможность подавать помощь бедствующим жителям Херсона. Наконец, пришел и мой черед выдержать болезнь. У меня началась головная боль, потеря аппетита и слабость во всем теле. На второй день болезни я заметил опухоль подкрыльцовых и подвздошных желез. Что я заразился чумою, в этом не могло быть сомнения. Я немедленно велел открыть распухшие железы и старался поддерживать их в постоянном нагноении, и таким образом избежал близкой смерти. Все те, которые подобно мне захворали и подвергались принятой мною методе лечения, тоже были спасены. Об этом свидетельствуют находящиеся с того времени рубцы на моем теле.

Всякая заразительная болезнь, как видно по Херсонской чуме, имеет свое время, в продолжение которого она оказывает губительное влияние на жизнь человека. Она похищает значительное число людей и затем прекращается, иногда с изумительною быстротою. Чума свирепствовала в Херсоне целых два года. Не найдется, конечно, ни одной болезни ужаснее чумы, как узнал я по собственному опыту. Страшно смотреть, как люди валяются замертво на улицах. Иной, только что вышедший из дому бодрый и здоровый, вдруг падает в

судорогах, которыми сопровождается чума, и испускает дыхание. В карантине я жил в вышеописанной землянке с одним доктором и хирургом. Накануне вечером все мы легли спать совершенно здоровые, а на другое утро хирурга нашли мертвым в постели: он умер неожиданно даже для нас.

Во время этой ужасной чумы оправдалось неоднократно сделанное замечание, что всякая заразительная болезнь прежде всего постигает того, кто ее боится и употребляет все, какие только можно выдумать, средства, чтобы избегнуть ее. Другой же напротив, смело и твердо идет навстречу болезни и скорее может рассчитывать на спасение от грядущей опасности. Всего меньше, сколько мне известно, умерло каторжников; они, как я уже сказал выше, обязаны были убирать попадавшиеся на улицах трупы и умерших в карантине и закапывать их за городом в ямах с известью. Напротив, те жители города, которые тщательно охраняли свои дома и прекращали всякие сношения с другими, все-таки заражались чумою и по большей части умирали, и притом внезапно.

Наконец, когда бедствие оставшихся в Херсоне жителей достигло высшей степени от совершенного прекращения подвоза съестных припасов, Бог послал на помощь несчастным своего ангела-хранителя. Чума совсем прекратилась. Карантин был сломан и сожжен; все оставшиеся в живых люди, числом около четырех сот, выпущены из него, как здоровые, и отправлены по домам. Перед возвращением на место жительства все обмывались уксусом, а все платье было предано огню, чтобы снова не вызвать только-что прекратившейся болезни. Взамен того каждый получал от казны рубаху, овчинный тулуп, шапку, пару чулок и обувь. Служащие получали не только полное содержание, но сверх того и вознаграждение за понесенные во время чумы убытки, чтобы могли заново всем запастись.

Э. Дригалеман.

ЧУМА В МОСКВЕ.

(Донесения Саблукова).

I.

19 сентября 1771 г.

Письмо ваше, батюшка, от 12 числа, вчерась я получил и за оное нижайше благодарю, а притом и о Московских обстоятельствах донести имею обстоятельно. Они состоят в том: дней десять назад, как стало здесь известно, что явился на Варварских воротах образ Боголюбской Богородицы, где и сделалось великое богомолье и великая теснота и сбор деньгам; а как болезнь от прикосновения весьма прилипчива, то покойной здешней преосвященный и рассудил в этом случае сделать некоторое распоряжение, а притом, чтоб не была раскрадена, и казну велел запечатать; и как скоро для сего только прислано было 15 числа около вечера, то бывшая тут чернь, не повинаясь сему, тотчас взбунтовала и ударила в набат. И как собралось множество черни, и, побив сию присланную команду, пошли ночью на 16 число, разломав железные ворота, в Чудов монастырь, дабы там найти и убить архиерея, который уже тогда потаенным образом и в сером кафтане ушел в Донской монастырь. То она в удовольствие нашла, чтоб разграбить, переломать все в покоях, где он жил, также и в домашней его церкви, ободрав Евангелие, престол и ризы и сосуды и случившиеся там деньги покрав, пошла 16 числа, около обеда, человек с 200 сих бунтовщиков, в Донской монастырь, где и нашли преосвященного и, вытащив его из алтаря на поле, убили его камнями и дубьем до смерти. А в тож время случившаяся в Кремле чернь разломала в Чудове монастыре купеческие погреба с винами, стали пьянствовать, и Кремль был так страшен от сих пьяных бунтовщиков, что они всех входящих туда солдат побивали камнями. Чего ради П. Д. Еропкин (который находился только один из господ в Москве) приказал собрать все военные команды и несколько пушек, дабы сих бунтовщиков разогнать и усмирить, и послал прежде оберкоменданта

Грузинского царевича уговаривать их, чтобы они перестали бунтовать, то они чуть также до смерти камнями не убили. Того ради П. Д. Ерошкин и решился, чтоб не дать время еще более умножиться бунтовщикам и не дать более столь дерзостных поступков, идти туда и усмирить их вооруженною рукою. И так мы пошли в тот день после полудня, в 5-м часу, и, пришед в Кремль, с Боровицкого мосту, нашли там еще остальных от убежавших на Красную площадь довольно бунтовщиков, коих усмирили пулями и штыками. А потом я был командирован с пушкой и с несколькими солдатами в Спасские ворота, дабы их очистить, где я и нашел до нескольких сот сих бунтовщиков с кольями и камнями; они не увидя меня приближающегося, покусились было войти в сии ворота с оружием, то я, в то время им туда набраться, выстрелил один раз из пушки картечью и нескольких убив, остальных тотчас разогнал штыками, и потом несколькими выстрелами очистил всю Красную площадь, чем и кончилась наша баталия. 17 числа собралось множество их опять, но от стоящих бекетов их много и переловили. Слышим от них, что вся их претензия была в том: на что их лечат докторы и лекари и на что учреждены лазареты и карантинны. и для чего архирей приказал запечатать казну. Но теперь, благодаря Бога, все сии беспокойства кончились, и другой день как состоит прежняя тишина и повиновение. Однакож, в осторожность, по разным местам расставлены бекеты и пушки; а как я живу возле П. Д. Ерошкина, то он свои бекеты и артиллерию поручил мне в команду; он меня еще более полюбил и отлично рекомендовал ее величеству.

II.

31 октября 1771 г.

Во время сражения я имел в своей дивизии 88 престарелых гвардейских солдат и одну армейскую полковую пушку, и с оною-то армиею долженствовал сопротивляться не одной тысяче мятежников; но потом был подкреплен и вместе с капитаном Волоцким пробыл целые двое сутки с оным корпу-

сом на Спасском мосту ¹⁾, не сходя с одного поста ни на минуту, поныне сии мятежники чрез сие время все покушались. Наконец, видя неудачу и то, что в тож время пришел сюда и армейский полк (который стоял по деревням в квартирах): раздумали более не дурачиться; и в то уже время мы были сменены армейскими; сначала же как мы пошли в Кремль, наша вся армия состояла менее чем во сто человек. П. Д. Еропкин во все двое суток не сходил с лошади и был безотлично на сражении, а потом объезжал весь город и все карантинны не один раз²⁾.

Сверх этого считаем не лишним сделать из прочих писем следующие извлечения:

От 22 авг. (1771). Занимать денег не у кого; ибо почти все господа разъехались по деревням.

25 авг. Болезнь действительно чума, отчего все господа разъехались, а осталась чернь, меж которою болезнь эта бывает. Чума не уменьшается, но умножается; заболевших и умирающих в моей части должен я сам осматривать по силе данной инструкции; а болезнь сия весьма прилипчива.

29 авг. У меня в команде 1000 дворов, и ежедневно имею дело с 300 человек.

Приходится сталкиваться с полицейскими крючками.

30 авг. Язва гораздо умножилась, и нет никакого способа ее совсем искоренить, да и медики утверждают, что до наступления стужи от нее избавиться не лзя.

1 сент. Народ час от часу убывает: все мастеровые, хлебники, пирожники, разнощики всякие и тому подобные люди расходятся по деревням. Из моей части в 6-ть дней вышло около 700 человек; перед уходом их осматривают доктора и выдают билеты о здравии.

5 сент. Суды все заперты.

¹⁾ Известно, что вдоль Кремлевской стены, на Красной площади, шел, до конца XVIII в., ров, и через него вели в Кремлевские ворота мосты. Спасский мост был замечателен между прочим и тем, что близь него (у Спаса на рву) производилась мелочная торговля книгами и произведениями лубочной печати.

²⁾ Не следует упускать из виду, что вышеприведенные письма писаны Саблуковым наскоро, к своему отцу, а потому некоторая небрежность их естественно объясняется этим обстоятельством.

8 сент. Людей у меня в части гораздо убывает: все расходятся и разъезжаются по деревням, и во дворе не более остается, как человека по три, а в господских домах оставлено только по одному дворнику.

12 сент. Офицеры и прочие находящиеся в Москве господа здоровы.

13 сент. Еропкин живет в 14 части за Пречистенскими воротами.

13 сент. Еропкин командир такой, лучше которого и желать нельзя.

С великим нетерпением ждем зимы, которая может быть лучшее лекарство от чумы.

22 сент. Господствует прежняя тишина. Погода становится холоднее, то надеемся, что Бог и чуму скоро утишит. Идет следствие над теми, кои попались под караул во время тревоги.

26 сент. Как наш командир, так и мы все, видим неописанную благодарность от всех граждан за избавление их от случившегося безпокойства.

27 сент. Вчера приехал к нам в Москву граф Григорий Григорьевич Орлов, и опубликован манифест, что полномочен во всех делах, касающихся до учреждения надлежащего порядка в комиссии о чуме. Мы его приезду все рады, и он случившееся наше 16 сентября сражение очень апробует; а в манифесте написано, что ему возвратиться тогда, когда сия комиссия приведена будет в настоящий порядок.

29 сент. В Москве все тихо и мирно.

3 окт. Приезжих из Петербурга много; все они, как говорят, будут иметь разные комиссии. Умерших и заболевших, как видно по рапортам, благодаря Бога, гораздо уменьшается.

От 6 окт. Граф Г. Г. Орлов имеет безупречное попечение сделать еще полезнейшие установления, дабы сохранить народ от распространившейся заразительной болезни.

Вы ¹⁾ изволите писать, что моего письма от 19 сентября получить не изволили, где я описывал все случившееся во

¹⁾ Т.е. отец А. А. Сабжукова.

время мятежа; не думаю, чтобы его удержали на почте; по-
неже это не секрет, да и писал не в чужие края.

Если бы не случилось во время мятежа гвардии офице-
ров, то не с кем бы было его усмирить.

От 11 окт. Господа начинают съезжаться.

От 24 окт. Московские обстоятельства гораздо попра-
вляются, так что число умерших содержит почти только
третью часть против прежнего.

27 окт. Благодаря Бога, чума уменьшается.

От 3 ноября. Умерших чувствительно уменьшается.

От 7 ноября. Чума, благодаря Бога, чувствительно умень-
шается. Москва-река замерзла.

От 14 ноября. Сегодня ожидаем сюда князя Михаила
Никитича Волконского. Он здесь будет начальником, а граф,
как сказывают, на этой неделе отправляется в Пб. К не ма-
лому нашему сожалению П. Д. Еропкин идет в отставку.

От 5 янв. 1772 г. В моей части уже 6 недель как все,
слава Богу, благополучно...

Реформы и провинциальная администрация.

ПЕРВЫЕ МЕРЫ ЕКАТЕРИНЫ II.

В 1762 году при вступлении моем на престол я нашла сухопутную армию в Пруссии за две трети жалование не получавшую.

В статс-конторе именные указы на выдачу семнадцати миллионов рублей не выполненными.

Монетный двор со времени царя Алексея Михайловича считал денег в обращении сто миллионов, из которых сорок почитали вышедши[ми] из империи вон и натурою отправлены[ми], понеже тогда вексельного оборота либо вовсе не знали, либо мало употребляли. Почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополии.

Таможни всей империи сенатом даны были на откуп за два миллиона. Шестьдесят миллионов рублей, кои остались в империи, были двенадцати разных весов, серебряные от 82 пробы до 63, медные от сорока рублей с пуда до 32 рублей в пуде.

Блаженной памяти государыня императрица Елисавета Петровна во время семилетней войны искала занять два миллиона рублей в Голландии, но охотников на тот заем не явилось, следовательно кредита или доверия к России не существовало.

Внутри империи заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться места и помещичьи.

Правительствующий Сенат тогда составлял один департамент. Сей слушал апелляционные дела не экстрактами, но самое дело со всеми обстоятельствами, и дело о выгоне города Масальска занимало, при вступлении моем на престол, первые шесть недель чтением заседания сената.

Сенат хотя посылал указы и повеления в губернии, но тамо так худо исполняли указы Сената, что в пословицу почти вошло говорить: „ждут третьего указа“, понеже по первому и по второму не исполняли...

Сенат хотя определял воевод, но число городов в империи не знал. Когда я требовала реестра городов, то признались в неведении оных; также карту всей империи Сенат от основания своего не имел. Я, быв в Сенате, послала пять рублей в Академию Наук от Сената чрез реку, и купили Кириловского печатного атласа, которого в тот же час подарила правительствующему Сенату.

Буде хто любопытен знать, что с провинциальных и городских воевод требовалось, да благоволит прочесть манифест мой, находящийся в заглавье учреждения для управления губерний. Тут увидеть можно картину, причинившую предпринятую перемену.

По восшествии моем на престол, Сенат подал мне реестр доходам империи, по которому явствовало, что оных считали 16 миллионов. По происшествии двух лет я посадила кн. Вяземского и тайного действительного советника Мельгунова, тогдашнего президента камер-коллегии, считать доходы. Они несколько лет считали, переписываясь раз по семи с каждым воеводою. Наконец сочли 28 миллионов, двенадцать миллионов больше, нежели сенат ведал.

При коронации моей было у меня три секретаря; у каждого из них было по триста прошений, итого девять сот. Я старалась, сколько возможно, удовлетворить просителей, сама принимала прошения, но сие вскоре пресеклось, понеже один праздник, идучи со всем штатом к обедне, просители пресекли мне путь, став полукружьем на колени с письмами. Тут приступили ко мне старшие, сенаторы, говоря, что такой непорядок последовал из излишней милости и терпения моего, и что законы запрещают государю самому подавать

прошении. Я согласилась на то, чтоб возобновили закон о неподаче самому государю писем, понеже увидела, что из того родился в самом деле соблазн, и тогда же сведала от многих, что весь город Москва иным не упражнялся, как писанием ко мне писем о таких делах, кои многие уже давно решены были, либо течением времени сами собою исчезли: но притом признаки были великого роптания на образ правления прошедших последних годов.

В начале царствования государыни императрицы Елизаветы Петровны издано было повеление управлять все дела по указам родителя ее, Петра Великого...

Генералы, приехавшие к коронации моей к Москве, были того мнения, чтоб сделать военную комиссию и в оной сочинить штаты всей армии, на что я согласилась, и посажены были в оной весь наличной лутчей генералитет, и штаты были сочинены и мною подтверждены, и суммы на войски были отделены от прочих доходов, недостаточные же две трети были на первой случай и тотчас по возшествии моем отпущены из кабинетной суммы в армию. Потом сделано было по моему приказанию три таблицы или списка. Первой, повальной, всем служащим от фельдмаршала до последнего, в табели о рангах находящегося. Второй—в армии находящегося генералитета и прочих штаб- и обер-офицеров. Третий: в штатской службе определенных и не удел находящихся.

Засим последовало определение жалования провинциальным и городским канцеляриям и воеводам по всей империи.

В 1763 Сенат разделен на шесть департаментов, два на Москве, четыре в Санктпетербурх, и предписано было слушать дела экстрактом, а не самое дело.

Возвратясь в Петербурх в июне 1763, спустя несколько время, поехала я в Сенат. Слушала дело о новой ревизии, которой двадцатилетний срок настоял, и требовали с меня повеления нарядить ревизоров по всей империи, безщотных воинских команд, и почитали, что менее восьми сот тысяч рублей ревизия не станет. Сенаторы разговорами между собою упоминали о бесчисленных следственных делах, которые ревизия за собою повлечет, о побегах в Польшу и за границы

ревизских душ, о ущербе империи от ревизии всякой, почитав однакож все ревизии за нужную вещь. Я слушала весьма долго все, что говорили, не позволяя себе кроме некоторых весьма кратких, но объяснительных для меня вопросов. Господа Сенат, наконец, устав говорить, замолчали. Тогда я спросила: на что таковой наряд войск и тягостная сумма для казны? Нельзя ли иначе? Но мне сказали: Так дельвалось прежде. Я на сие ответствовала: А мне кажется, вот как. Публикуйте по всей империи, чтоб каждое селение послало о наличном числе душ реестр в свою воеводскую канцелярию, чтоб от канцелярий прислали в губернии, а губернии в Сенат.

Человек четыре сенаторов встали, представляли мне, что прописных будет без числа. Я им сказала: поставьте штраф на прописных. Паки представляли, что за всеми уже положенными жестокими наказаниями многое множество прописных есть. Тогда я им говорила: Простите всех до днесь прописных по моей просьбе и велите селениям прописных донне внести в нынешние ревизионные сказки. Тут князь Яков Петр. Шховской, разгорячась, сказал: „Тут правосудие нарушается, и виновные будут с невинными. Я ревностно объявлял и у меня прописных нет, а кто пользовался прописными, тот станет со мной наравне“. Генерал-прокурор был тогда Александр Иван. Глебов. Он, слыша у своего стола сей разговор и видя горячность князя Шаховского, вскочил с своего стула и, пришед ко мне, просил меня, чтоб я ему сказала, как мне угодно, чтоб ревизия сделана была, что мне весьма легко было. Он все оное записать велел и выработать взялся, что и выполнил. И до днесь ревизии так делаются в каждом уезде, без наряда и убытка, и прописных нет и об них не слышно.

До ревизии еще, скоро по совершении коронации моей, повелено было монетному двору всю серебрянную монету преводить и впредь бить по 72 пробе, а медную по 16 рублей из пуда. Сие приказание последовало по следующему правилу: Понеже для каждой земли все равно, по какой бы пробе деньги ни ходили, лишь бы 1) постоянно проба была одна; 2) проба бы была менее способная к вывозу и подделке; 3) 72 пробы рублей выпущено с монетного двора более, не-

жели других проб, медные же 16 рублей с пуда: 4) что золотой монеты один лишь миллион ходил по всей империи, и сия монета уравнена была с прочими по 28000 рублей из пуда.

Немешкотно по коронации моей была назначена комиссия под именем духовной, в которой сидели многие архиереи, сенаторы и светские персоны. Сия комиссия сделала штаты архиерейским домам и монастырям и определила им содержание, и деревни монастырские отданы в управление коллегии экономии, нарочно для того учрежденной, от чего монастырских крестьян непослушание одним разом пресекалось.

Заводских крестьян непослушание унимали посланные генералы-майоры, князь Александр Алексеевич Вяземский и Александр Ильич Бибииков, рассматривая на месте жалобы на заводсодержателей. Но не единожды принуждены были употребить противу них оружие и даже до пушек, и не унялось восстание сих людей, дондеже Гороблагодатские заводы за двухмиллионный долг казне Петра Иван. Шувалова не были возвращены в коронное управление; также Воронцовские, Чернышевские, Ягушинские и некоторые иные заводы, по таковым же причинам, вступили паки в коронное ведомство. Весь вред сей произошел от самовластной раздачи Сенатом заводов сих с приписными к оным крестьянами, в последние годы царствования гос. императрицы Елисаветы Петровны. Щедрость Сената тогда доходила до того, что медного банка тримиллионный капитал почти весь роздал заводчикам, кои, умножая заводских крестьян работы, платили им либо беспорядочно, либо вовсе не платили, проматывая взятые из казны деньги в столице. Сие заводские беспокойства пресекались не прежде 1779 года манифестом моим о работах заводских крестьян. С тех пор не слышно было об них ничего.

С самого начала моего царствования все монополии были уничтожены, и все отрасли торговли отданы в свободное течение. Таможны же все взяты в казенное управление, и учреждена была комиссия о комерции, коей означая правила, потом по оным [она] сочинила тариф, что мною и подтверждено было, и чрез несколько лет тариф пересматривается по апробованным правилам, что до днесь продолжается, и комерция не

исчезает, но ежегодно распространяется и доходы одни питербургской таможи приносят более трех миллионов.

Таможня питербургская, быв несколько лет в казенном управлении, вдруг правительствующий Сенат прислал к ней пеню, что мало собирает доходы; дошед дело до меня, я спросила, менее ли она собирает денег, нежели [когда] отдана была Сенатом на откуп, или более? Нашлось, что полмиллиона более. Я тогда Сенату сказать велела, что пока таможня более откупной суммы соберет, нет причины Сенату пенять таможне.

В первые три года царствования моего, усматривая из прошений, мне подаваемых, из сенатских и разных коллегий дел из сенаторских рассуждений и прочих многих людей разговоров не единообразные, ни об единой вещи, установленные правила, законы же по временам зделанные, соответствующие сему умов расположению, многим казались законами противоречащими; и требовали и желали, дабы законодательство было приведено в лучший порядок. Из сего, у себя на уме я вывела заключение, что образ мыслей вообще, да и самый гражданский закон не может получить поправления иначе, как установлением полезных для всех в империи живущих и для всех вещей вообще правил, мною писанных и утвержденных. И для того я начала читать, и потом писать Наказ Комиссии Уложению, и читала я и писала два года, не говоря ни слова полтора года, последуя единственно уму и сердцу своему, с ревностнейшим желанием пользы, чести счастья, (и с желанием) довести империю до вышней степени благополучия всякого рода, людей и вещей, вообще всех и каждого особенно. Предуспев по мнению моему в сей работе довольно, я начала казать по частям, всякому по его вкусу, статьи, мною заготовленные, людям разным, и между прочим князю Орлову, и графу Никите Панину. Сей последний мне сказал: „*Ce sont des axiomes à renverser des murailles*“. Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто тому или другому показать, но я более листа одного и другого не показывала вдруг. Наконец, заготовя манифест о созыве депутатов со всей империи, дабы лучше спознать каждой округи состояние, съехались оные в Москве в 1767 году,

где, быв в Коломенском дворце, назначила я разных персон, вельми разно мыслящих, дабы выслушать заготовленной Наказ Комиссии Управления. Тут при каждой статье родились прения: Я дала им волю чернить и вымарать все, что хотели. Они более половины того, что написано мною было, помарали, и остался Наказ Уложения, яко напечатан, и я запретила на одного инако взирать, как единственно он есть: то есть, правила, на которых основать можно мнение, но не яко закон, и для того по делам не выписывать яко закон, но мнение основать на оном дозволено.

Комиссия Уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещися должно. Она все части закона собрала и по материям разобрала, и более того бы сделала, ежели бы Турецкая война не начиналась. Тогда распущены были депутаты, и военные поехали в армию. Наказ Комиссии Уложения ввел единство в правила и в разсуждения не в пример более прежнего, и стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере стали знать волю законодавца и по оной поступать...

Имп. Екатерина II.

КОМИССИЯ 1767 г.

Вскоре премудрая Екатерина перед лицом всего света доказала, что не одним токмо блеском и пышностью двора намерена занимать своих подданных, и обратила всеобщее их внимание на дело, к собственному их благоденствию относящееся...

В конце 1766 года (14 декабря) изданы были достопамятный манифест и указ всем губернаторам о прислании в Москву депутатов со всех сословий: синода, сената, коллегий, канцелярий и от каждой провинции, города и уезда, от дворянства и от гражданства, от однодворцев, пахатных солдат, от служилых людей, ландмилицию содержащих, от государственных черносошных и ясашных крестьян, казацких и запорожских войск, и даже от кочующих разных в областях Российской империи народов, какого бы они закона ни

были. „Мы сзываем, пишет Екатерина, сих депутатов не только для того, чтоб от них выслушать нужду и недостатки каждаго места, но они также должны быть участниками при издании проекта нового уложения; они должны слышать законы нами вновь изданные, находить в оных недостатки, дать свои мнения и замечания и тем споспешествовать поправлению законов, споспешествовать собственному и общему благу. Сии учреждением даем мы нашему народу опыт нашего чистосердия, великие доверенности к оному и прямые материнские любви“. Великая государыня желала доказать, что не только словами, но и на самом деле оправдывает она достойный ее титул матери, и для того, чтоб лично удостовериться самой о точном состоянии всех провинций и городов обширнейшей своей империи, она еще в предшедшем году осматривала некоторые немецкие провинции, а теперь, как срок приезда депутатам положен был шестимесячный, желая употребить сие время на новое путешествие, предположила из Твери идти по Волге до Казани. Между тем Александру Ильичу Бибикову повелела отправиться в Кострому, где он присутствовал при выборе предводителей и депутатов в комиссию нового уложения.

8-го марта он доносил Ее Величеству о благоуспешном сего дела исполнении, о избрании его самого в депутаты и о душевной благодарности, преисполняющей сердца всех словий при столь необычайном доверии и милости монаршей,

По инструкции, самим им составленной, легко приметить можно, сколько известны были ему намерения государыни, ибо почти без изъятия все, от него предлагаемое и от костромских его сограждан утвержденное, не только принято, но и обращено в постановление.

С сими инструкциями Александр Ильич явился к императрице в Москву; потом, возвратясь в Кострому 12 мая, предварил приезд ее в сей город, и когда Ее Императорское Величество с 5-ю чужестранными министрами, с многочисленною свитою и двором на галерах прибыли 15-го мая, имел счастье ее приветствовать от лица своих сограждан и уподобил в речи своей вождеденное ее прибытие тому благополучному для сего края времени, когда в сем же городе в Ипа-

тневском монастыре избран был на российский престол Михаил Федорович, и воцарением Романовых восстановлено и утверждено было благоденствие России.

Скоро по сем удостоен был Александр Ильич нового знака милости императрицы. Она соблаговолила посетить (17 мая) деревенский дом его на берегу Волги, откусать, принять отдохновение, и осыпав отца и все семейство осчастливленного хозяина изъявлениями благоволения, продолжала путь. Тогда Александр Ильич причислен был к свите Ее Величества, и с некоторыми из знатнейших ее чиновников участвовал в достойном занятии Екатерины в свободные часы сего плавания, в переводе Мармонтелева Велizarия. В самое то время, как французское духовенство и Сорбона осуждали сие философическое сочинение на сожжение, императрица посвящала преложение оною одному из первейших пастырей в российском духовенстве. Александр Ильич перевел главу 13-ю, особенного примечания достойную. В оной Велizarий, наставляя молодого Тиверия о должностях государя, между прочим говорит, что одним непоколебимым правосудием, утвердив благосостояние подданных, достигнет общего их благоговения и любви.

По собрании депутатов в Москву, в числе 652, всем даны для ношения в петлице на золотой цепочке золотые овальные медали, с изображением на одной стороне вензельного Ее Императорского Величества имени, а на другой пирамиды, увенчанной императорскою короною, с надписью: „Блаженство каждаго и всѣхъ“; а внизу „1766 годъ, декабря 14 день“; и дан указ, коим все депутаты навсегда избавляются от смертной казни, пыток и конфискаций их имения, кроме собственных долгов, особа же их во время заседания охраняется от всяких обид двойным штрафом против равных им чиновников.

30 июня (1767 года) депутаты, предводимые генерал-прокурором (кн. Вяземским), торжественно ходили в Успенский собор, где, отслушав обедню и молебен о призвании в помощь Святого Духа, и приняв благословение святейшего синода, были допущены на аудиенцию к императрице и, приветствоваха ее речью, просили позволения приступить к на-

частью великого их дела, и получили от Ее Величества: 1-е, знаменитый наказ, возбуждающий похвалу и удивление всей Европы; 2-е, обряд, который комиссия должна соблюдать при сочинении проекта нового уложения; в заключение сего обряда, между прочим, сказано: „подтверждается исполнять все предписанные правила оного с строгою точностию, ибо ни одно слово в нем не написано без того намерения, чтоб довести порядочно сие великое дело к концу. Итак не можем думать, чтоб нашелся единый, который бы не предпочитал важное в своем предмете намерение своевольным каким ни есть выдумкам или гордости и упрямству страстей, а естли, паче чаяния из источников сему обряду какая будет помеха, то чрез сие объявляем:— Да будет ему стыдно—и всей комиссии неудовольствие на себе да понесет. Напротив же того, мы ожидаем несомненно, что все вообще верными нашими подданными по присяге выбранные в сей важной комиссии депутаты, и каждый из них наполнен верностию и любовью к престолу, ревностию к отечеству и послушанием к предписаниям, ведущим всех к благоденствию; и что они покажут нашему веку, яко не уступают предкам в уважении и ненарушении драгоценного старинного слова:—да будет мне стыдно“. 3-е, Данный генерал-прокурору наказ, по которому и маршалу (то есть предводителю) предписано поступать. В одном из достойных замечания пунктов (в 12-м) сказано: „Одним словом, вся наука законов состоит в обращении людей к добру, в препятствовании и уменьшении зла, и в обращении той беспечности, коя последует во всем правительстве от привычки и нерадения, к чему обороною служит закон общий без изъятия лиц, невозможность избыть от повеленного в оном и поспешность в наказании. В сих словах заключены те правила, из коих все прочие узаконения истекают“.

Когда на другой день, то есть 31-го июля, воспоследовало первое полное собрание всех депутатов, генерал-прокурор предложил им, что время приступило к выбору их предводителя. Должность сего чиновника была весьма важна, ибо он председательствовал как в больших собраниях, так и во всех отдельных комиссиях, и без присутствия его или ге-

генерал-прокурора были они недействительны; от него зависело предлагать дела и останавливать их течение; ударом жезла своего мог он разрушать или возобновлять собрание; он подавал все доклады и получал на оное монаршее решение и должен был иметь крепкое наблюдение, чтобы комиссия, учрежденная для сочинения проекта нового уложения, ни в чем другом не упражнялась как в том, для чего она установлена, то есть в сочинении сего проекта.

Собрание, в исполнение 4-го пункта предписанного в обряде порядка, избрало кандидатами в сию должность веземского депутата графа Ивана Григорьевича Орлова, волоколамского депутата графа Захара Григорьевича Чернышева, и костромского депутата Александра Ильича Бибикова; на представлении о сем, 2-го августа императрица соизволила надписать: „г. Орлов сам просит увольнения; г. Чернышев, занят будучи многими должностями, не может сего принять; утверждаю предводителем депутата Александра Бибикова“ 1).

По возвещении о сем высочайшем утверждении, генерал-прокурор вручил жезл новоизбранному маршалу, который произнес речь.

По окончании сей речи, собрание ознаменовало заседание свое разделением депутатов в разные комиссии, коих было 19. Депутатскому маршалу и генерал-прокурору назначено было председательствовать (как выше уже сказано) не только в большом собрании, но и во всех частных комиссиях, а граф Андрей Петрович определен был директором дневных записок или журналов. Распределив таким образом чиновников к их должностям, по предложению маршала приступили к чтению данного им большого наказа. Наказ сей, вечный памятник мудрости Екатерины, столько имеет видов и столько объемлет предметов, что можно назвать оный всеобщим законоположением и всем земным обладателям наставлением. По выслушании сего наказа, депутаты, пораженные великодушием самодержицы, отступающей от первых своих прав и возлагающей оные на депутатов своего народа, и восхи-

1) Императрица, кажется, прежде предположила сие, ибо обряд управления комиссией и наказ генерал-прокурору и маршалу сочинен был Александром Ильичем.

щенные человеколюбием монархини, отменяющей постыдные и жестокие истязания пыток и конфискаций, и устанавливающей, что лучше спасти десять виновных, нежели наказать одного невинного, и что преступление, быв личное, не должно изыскиваться и наказываться как на самых виновниках"; преполненные к ней душевной благодарности, единодушно возжелали поднести ей титул: „Екатерины Великой, Премудрой и матери отечества“ и в определении своем, 9-го августа, так изъяснились: „Ведаем мы совершенно, что сии изъявления нашей благодарности не могут придать Ее Величеству ни большей славы, ни большего сияния, но они украсят нас и век наш. Скажут будущие времена, что обладала нами императрица, не в обширности пространного государства, не в самодержавной власти величество свое полагаящая, но в одном том, чтоб сделать бесчисленный народ, скипетр ее лобызавший, сколь можно по человечеству добродетельнейшим и благополучнейшим в свете, императрица необыкновенно сказавшая, что не народ для нее, но она для своего народа сотворена, которого счастье предпочитает и дражайшей своей жизни, единодушно нами за неоцененное наше щастие признаваемое“.

12 августа Александр Ильич, в качестве маршала депутаций, предстал со всем собранием депутатов пред сидящею на троне императрицу, дабы от лица сената и всего русского народа торжественно поднести титул ей совершенно следующий. При сем случае достойно примечания, что Александр Ильич, не взирая на обыкновенное милостивое с ним обращение императрицы, и хотя еще накануне предварительно пред нею прочел часть приготовленной речи, однако же важность сей торжественной минуты и взор августейшей монархини, облеченные во всем блеске императорского сана, привело его в невольное смущение, и он с трудом мог начать свою речь.

По окончании ее, государственный виц-канцлер князь Голицын, от лица императрицы отвечал, что Ее Императорское Величество тем с большим удовольствием принимает изображенную от господ депутатов чувствительность: что она подает ей надежду твердостию, с которою исполнять будут на них возложенное дело, и до какой степени благород-

ные сердца могут простерть ревность и добродетели, когда имеют случай утверждать блаженство рода человеческого, и от всего сердца желает, чтобы Царь царствующих укрепил их в их благих мыслях, помог и утвердил во всех трудных предприятиях. За сим Екатерина изустно прибавила:

„О званиях же, кои вы желаете, чтоб я приняла, на сие отвечаю: 1-е *Великая*: о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрасно судить; 2-е *Премудрая*: никак себя назвать не могу, ибо один Бог премудр; 3-е *Матери Отечества*: любить Богом врученных мне подданных, я за долг звания моего почитаю, и быть любимой от них, есть все мое желание“ ¹⁾.

Акт сего поднесения и августейший ответ, хранящиеся в Сенате, пребудут навсегда неопровергаемыми свидетельствами народной признательности, нелицемерной любви и усердия к монархине и великодушия бессмертной Екатерины II. Сим достопамятным происшествием открылось знаменитое собрание депутатов.

Александр Ильич, пламеня неограниченною любовью и усердием к отечеству, прилагал всевозможнейшие способы и старания к вспомоществованию сему великодушному предприятию государыни и употреблял самые деятельные средства для направления всех умов к единой сей счастливой цели, душевно в полной мере чувствуя всю важность сего единственного в своем роде дела.

Императрица, часто присутствуя невидимую при заседаниях, неотлагательно изъявляла Александру Ильичу свои замечания краткими своеручными записками. Я приложу здесь некоторые из драгоценнейших сих отрывков, преисполненных глубокомыслием, остроумием и знанием человеческого сердца.

Восхищенные ее добродетелями и великодушием, депутаты часто не могли воздержать себя от похвал, но Екате-

¹⁾ Во время отсутствия императрицы из С.-Петербурга в 1780 году, некоторые из сановников вновь согласились поднести ей титулы *Великой* и *Матери Отечества* и соорудить врата для ее въезда. Екатерина вновь отклонила это поднесение и даже в письме своем на имя главнокомандующего в столице фельдмаршала кн. А. М. Голицына выразила свое неудовольствие „за упражненение в подобных выдумках“.

рина возбраняла сие; она слыша сие, написала к Александру Ильичу:

„Я им велела делать рассмотрение законов, а они делают анатомию моим качествам“.

Следующим предписанием оправдала истину изречений Александра Ильича, что „премудрая и человеколюбивая императрица о том главнейшее и всегдашнее попечение имеет, чтобы свободным мыслию и языком собранием руководствовать“.

Видя, что маршал с жаром настаивает о исполнении некоторого своего предложения, так сие остановила: „Бога для не спешите, оставить было на столе и взять время, ибо скажут, что вы их приневоливаете“.

В сие же время писала следующее: „Господин предводитель! При сем присылаю к вам журналы Английского парламента, дабы вы могли приказать оные прочесть тому, кому поручите сделать выписку ежемесячную из ваших дневных записок, для напечатания при ведомостях.

„Екатерина“.

Желая подать краткие и весьма ясные правила для собирания голосов депутатских, не выпуская никогда из виду непреграждения вольности в рассуждениях, соблюдая сколь возможно порядок и благочиние в заседаниях, она прислала их с яхты 13 июля 1768 года ¹⁾...

А. Бибиков.

ОТКРЫТИЕ ТУЛЬСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА.

Настоящее дело, и так-называемое открытие наместничества, началось в исходе декабря и тем, что все дворянство в назначенной день собралось в соборную церковь, и по отслужении обедни и молебна, и по учинении общей присяги, все отправились в помянутую красную и для общего заседания назначенную палату, куда и мы с Кологривовым вте-

¹⁾ Императрица, намереваясь возвратиться из Москвы в Санкт-Петербург, закрыла собрание депутатов 14-го декабря 1767 года, и прибыв в Петербург 28 января 1768 года, открыла собрание с приличным торжеством февраля 18.

снились и имели, как гости, наилучшую удобность видеть всю торжественность сего первого и никогда еще до того небывалого всего тульского дворянства собрания и заседания. И подлинно, зрелище было сколько с одной (стороны) пышное и великолепное, столько с другой—поразительное и приятное. Собрание было многочисленное; никогда еще Тула не видала в стенах своих столь великого множества и знатного, и средственного, и мелкого дворянства.

Вся помянутая и довольно просторная зала наполнена была ими и все скамьи, которыми она вся сплошь была установлена, были ими усажены. У самой же передней стены сооружен был императорской трон, под богатым балдахинном и с стоящим на нем портретом императрицы, во весь ее рост написанной, а на ступенях трона стал наместник и говорит всем краткую приветственную речь всему собранию. По обеим сторонам его стояли на полу все его приближенные, также губернатор и прочие чиновники, а вместе с ними и все гости, приезжие из других губерний, а в том числе и мы с г. Кологривовым. Перед ним же прямо сидело по уездам все знаменитейшее дворянство, состоящее из генералов, бригадиров и других чиновных людей, а за ними и прочие.

Все они, при начале речи, говоренной наместником, в своих местах встали и выслушивали оную с должным благоговением, чем самым и совершилось открытие тульского наместничества. После сего предложено было наместником всему дворянству, чтоб оно приступило к общему выбору губернского предводителя, посредством баллотирования; и тотчас тогда понесли по всем усевшимся на скамьях дворянам, определенными к тому людьми, одними на блюдах шары, а другие, покрытые зеленым сукном, баллотировальные ящики, при котором случае в первой еще раз я оные увидел и получил об них и о самом баллотировании понятие. Сие первое действие продолжалось нарочито долго, ибо надобно было человек трех или четырех из предложенных наместником баллотировать, и для каждого обносить вновь по всем шары и ящики, и потом вынимать первые из них и пересчитывать, для узнания, которыми из них положено сколько и кому

больше всех. Счисление сие производил, при глазах самого наместника, губернатора и прочих, губернской прокурор, г. Небольсин, на столе поставленном пред наместником. И как оказалось, что множайшее число шаров положено было знакомцу и свойственнику нашему генералу Дмитрию Васильевичу Арсеньеву, то и хотели-было его тем поздравить; но как он стал просить о увольнении его от сей должности и уступал ее находившемуся под ним по баллам господину генералу Юшкову, то сей и был от всего дворянства в сем достоинстве поздравлен, чем все дело в сей день было и конечно, и все знаменитейшие люди, по приглашению от наместника, поехали к нему обедать...

В следующий за сим день было опять такое же общее всех дворян в сем доме собрание, но уже без наместника, а при председательстве нововыбранного губернского предводителя и прокурора. И в сей день занималось дворянство по уездам выборами своих уездных предводителей, чрез что каждое уездное дворянское сословие получило своего собственного начальника, а чрез них предложено было потом от каждого своим дворянам, чтоб они избрали из среды своей по два человека в кандидаты, для избрания двенадцати человек для определения в совестной суд, в верхний земский суд и в приказ общественного призрения, в заседатели. А из сих, наконец, всем общим собранием выбаллотировали потребное число людей в помянутые должности. И сего довольно уже было для упражнения в сей день, ибо все сие предмислось довольно долго. По выборе же и назначении всех сих судей и начальников, водимы они были в дом к наместнику для утверждения, которой их всех с сими временными чинами, утвердя и поздравив, а потом всех их угостил у себя обедом. Мы с г. Кологривовым и в сей день были также в красной палате, желая видеть и сей обряд, как никогда еще до того невиданный, и я, любопытствуя узнать, кто именно избран в предводители по нашему Богородицкому уезду, услышал, что удостоен тем некто г. Сухотин, человек мне еще незнакомый и по достоинствам своим не весьма знаменитой; достальное же время дня препроводили мы опять по взаимных друг друга посещениях.

В последующий за тем третий день надлежало всем дворянам избирать также баллотированием в каждой город своих уездных судей и заседателей; но как для сего требовалось более простора, нежели сколько было бы в помянутой красной палате, то назначено было производить сии выборы в квартире самого наместника, в разных, отведенных для уездов, комнатах. Сим они в сей день и занимались, и были поуездно угощаемы столом. Но мы, как гости и нехотящие брать в том собственного соучастия, не рассудили за благо туда-ж вместе с прочими ехать, а сей день употребили на отдохновение, а отчасти на сборы ехать в театр, узнавши, что в сей вечер дан будет первой спектакль. Мы согласились и в сей день ехать туда вместе с семейством г. Кологривова; и как нам удалось получить для себя и особую ложу, то положили взять с собою и детей наших, которых, а особливо мне своего малютку-сына хотелось познакомиться с сим невиданным еще им никогда театральным зрелищем.

По приезде в театр, нашли мы его весь наполненной множеством народа и увидели тут все дворянское лучшее общество, с их семействами в одном месте и в соединении, и зрелище сие было по новости своей поразительное. Играли в сей день известную комедию: „Так и должно“, и актеры исправили свое дело довольно исправно и удачно. Все они привезены были в Тулу из Калуги, где такой же театр был сделан, и где они из разных чиновников и образовались...

Препроводив сей день с удовольствием и услышав, что и в последующий за сим день будет опять театральное представление, готовились мы и в оной ехать опять в театр, и препроводив опять весь день в разъездах и в свиданиях с своими знакомцами, ввечеру были опять в театре и с удовольствием смотрели на представляемую в сей день комедию: „Раздумчивого“. Впрочем, день сей употреблен был на приведение всех выбранных судей к присяге, а наместник продолжал угощать уездных дворян столами, ибо всех их в один день угостить было не можно.

Наконец, настал день для открытия всех знаменитейших судебных мест, как-то: наместнического правления, граждан-

ской, уголовной и казенной палаты, верхнего земского суда и верхней расправы, также совестного суда и приказа общественного призрения, и посажение всех определенных и избранных судей на места их. Все сие производилось с обыкновенными обрядами, при присутствии самого наместника, губернатора и других именитейших чиновников: и как сие производилось в домах разных, то и не было бы о сии, по существу своему ничего незначущие обряды видеть. А мы занимались между тем своими делами и сборами к езде, ввечеру, на даваемой наместником в помянутом другом демидовском доме бал и маскарад, и для смотрения оттуда фейерверка, которым долженствовало всем сим праздникам и торжествам оконченным быть...

Не могу изобразить, сколько хлопот и суеты наводили на нас сии сборы и с каким неописанным любопытством хотелось всем видеть фейерверк, а особливо тем, коим не случалось еще никогда видеть оные, а всех более нашим детям...

Но за сей страх (падение из возка во время езды) и удовлетворен он (т.-е. сын Болотова) был лихвою неописанным для него удовольствием, при смотрении тогдашнего фейерверка. Зрелище сие было для его совсем новое и поразительное, и по счастью удалось ему оное видеть во всей полноте и беспрепятственно. Ибо как мы, для тесноты, не рассудили брать его с собою в демидовской дом в маскарад, то и оставили его в возке с его бабушкою и другими на бал не поехавшими детьми, поставя возок в таком месте, чтоб им из оногo весь фейерверк был совершенно виден. И какая радость была для его, когда увидел он вздымающиеся вверх ракеты, вертящиеся разнообразные огненные колеса и потом горевший разными огнями небольшой фитильной щит. Он прыгал даже от радости и восхищения. А такое же действие производило сие зрелище и в бывшей с нами в маскараде большой нашей дочери. Не с меньшим же удовольствием смотрели и сами мы из дома на сию редко выдаемую огненную потеху.

Что касается до самого бала и маскарада, то оной был нам уже не в такую диковинку; к тому-ж и не было в нем

никаких дальних особенностей. Наместник присутствовал на оном недолго, а тотчас по сожжении фейерверка отъехал; да и прочее дворянство веселилось оным не слишком долго, и на большую часть скоро разъехалось, а чрез то и сделался довольно простор. Пользуясь оным, старался я всячески отыскать определенного в наш город городничего, как будущего своего в правлении городом Богородицкого сотоварища, и такого ближнего соседа, с которым надобно мне будет иметь более всех дела. Был он один из замосковных, но небогатых помещиков, бывший до того в морской службе и отставленной в чине капитана второго ранга и назывался Антон Никитич Сухотин, и находился также тогда с женою своею на сем маскарade. По белому его приметному морскому мундиру не трудно мне было его отыскать, и я не приминул с ним обрекомендоваться и сколько-нибудь познакомиться...

А. Болотов.

ОТКРЫТИЕ ГОРОДА.

В исходе летних месяцев (1785 г.), чтоб как-нибудь очернить Державина и доказать неуважение его к начальству, и непослушность, Тутолмин (наместник) сделал ему такие поручения, которые с одной стороны были не нужны, а с другой в исполнении почти невозможны. В исходе августа прислал он повеление осмотреть губернию и город Кемь, лежащий при заливе Белого моря, недалеко от Соловецкого монастыря. Это почти было невозможное дело, потому что в Олонецкой губернии, по чрезвычайно обширным болотам и тундрам, летним временем проезду нет, а ездят зимою, и то только гусем; в Кемь же можно попасть только из города Сумм на судах, когда молебщики в мае и июне месяцах ездят для моления в Соловецкий монастырь, а в августе и прочие осенние месяцы, когда начинаются сильные противные погоды, никто добровольно, кроме рыбаков в рыбачьих лодках, не ездит. Но Державин, не взирая на сии препятствия, дабы доказать всегдашнюю его готовность к службе, предпринял исполнить повеление наместника, и действительно исполнил, хотя с невероятною почти трудностью, объездя более 1500

верст то верхом на крестьянских лошадях по горам и топям, то в челночках по озерам и рекам, где не токмо суда, но и порядочные лодки проехать не могут. Приехав в Кемь, не нашел тут не токмо присутственных мест, ни штатной команды, но ниже одного подъячего, хотя наместник его уверил, что он все нужное найдет там готовым. Из сего понятен был, можно сказать, злодейский умысел наместника, потому что ежелиб Державин не поехал, то бы он сказал, что он непослушен начальству или по трусости неспособен к службе: в притивном случае он почти уверен был, что благополучно не может совершить сего опасного путешествия, что и сделалось-было самым делом, как ниже увидим. Но Божий Промысел, против злых намерений человеков, делает, что Ему угодно. Державин, приехав в Кемь, увидел, что нельзя открывать города, когда никого нет. Однако, чтоб исполнить повеление начальника, он велел сыскать священника, которого чрез два дни насилу нашли на островах на сенокосе, велел ему отслужить обедню и потом молебен с освящением воды обойти со крестами селение и, окропя святою водою, назвать по высочайшей воле городом Кемью, о чем оставил священнику письменное объявление, приказав о том по его команде отрапортовать Синоду, а сам таковой же рапорт послал в Сенат...

Г. Державин.

ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ГОРОДОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ.

Из Осташкова от 28 июля 1772 г.

Из четырех новых городов наш по очереди последний обрадован был объявлением высочайшего Ее Императорского Величества именного повеления о учреждении сего места городом, и радость сию, кажется, более еще восчувствовали с искреннейшею благодарностию все здешние обыватели, когда Его Превосходительство господин Новгородской Губернатор, Генерал-Порутчик и Кавалер Яков Ефимович Сиверс, прибыл сюда 23 числа сего месяца для торжественного нам объявления сего нашего благополучия, и того же дня утвердил линию

городового вала, посредством коей сей город, составлявший прежде полуостров, делается ныне с прибавлением на новые селения довольно числа по апробованному плану земли совершенным островом. На другой день, то есть 24 числа, после божественной литургии прочтен был высочайший Ее Императорского Величества указ, и по водоосвящении происходил крестный ход в округ полуострова, на нескольких больших судах и на великом числе малых лодок, также и по новой городской линии, по возвращении же из одного по полудни уже в 4 часу в собор, пет был благодарственный молебен. Следующего дня Его Превосходительство господин Губернатор, выслушав от всех собранных обывателей усердное желание о бытии в мещанстве, привел их всех в соборе к присяге, а по расписании в гилдии начался балотированием выбор новых градских судей, который продолжался по 27 число, и в оный день открыто Его Превосходительством присутствие как в Осташевской воеводской канцелярии, так и в тамошнем Магистрате. Уезд к сему городу причислен из Ржевского, так как к прочим трем новым городам отделены оные от Новгородского уезда. Выгодное и красивое положение нашего города на Селигере озере, усеянном островами, числом до ста шестидесяти девяти, из коих многие населены, подает нашему обществу несомненную надежду к будущему благоденствию, ибо здесь разделяются воды, которые течение свое имеют к Каспийскому и Балтийскому морям; также в малом расстоянии отсюда отделяются и к Черному морю. По высочайшему повелению премудрой и неусыпно пекущейся о благополучии подданных своих Великой Монархини нашей, давно уже свидетельствовано положение сих мест Его Превосходительством г. Губернатором нашим, для открытия между оными свободной водяной коммуникации, к совершению которой и сделан был прожект: а ныне Его Превосходительство умножил еще более надежду нашу на высочайшую милость и матернее Ее Императорского Величества попечение, отправившись водою по нашему озеру и по тем самым рекам, по коим положено быть оному водяному ходу, то есть по Явоне, Поле и Лозате, и чрез озеро Ильмень до Нова города, где мимоездом Его Превосходительство намерен свидетельство-

вать в Старой Руссе строение новых градирных домов и соляных варниц, в коих под ведением господина Генерал-Квартирмейстера и Кавалера Бюра началось уже соловарение.

(„Моск. Вед.“ за 1772 г. № 69).

В САРАТОВСКОМ НАМЕСТНИЧЕСТВЕ.

Внутренний порядок в сем наместничестве был не забавен, но жалости достоин: разбойники, видя себя покровительствуемых, смело везде делали грабежи и смертоубийства. Я только один случай здесь предложу. Поручик моего эскадрона Смирной был послан по полковой надобности в Воронеж; в одну ночь следовал он по весьма узкой от великого снега дороге, где повстречался с двумя санями, из коих впереди ехавшие были крытые, одною лошадыю запряженные, а задние имели добрую тройку, на которых вместились пять горлорезов. Сани г-на Смирного, зацепившись за впереди ехавшую кибитку, оную опрокинули в снежной сугроб. Отъехав он от сего места версты три, увидел, что сани тремя лошадьми запряженные догоняли его во весь скач и кричали, чтоб он остановился. Ямщик ударил по лошади, но тщетно, ибо был опережен разбойниками и остановлен, из которых два взяли за горло карабинера бывшего с г-м Смирным, а два шли к нему, который был без всякого оружия. Г-н Смирной им объявлял, что он офицер у которого им нечего поживиться; „нет (отвечал один из разбойников, который казался был начальником), ты купец, ты должен или умереть, или деньги свои нам отдать“.—Г-н Смирной, чтоб их больше удостоверить, сняв с себя шубу, показал им под оной свой мундир; тут они увидели, что ошиблись и потому оставив сказали: „твой кафтан тебя спас, а мы думали, что ты купец судя по твоей шапке и шубе“.—Отделавшись таким образом г-н Смирной от беды, прибыл в деревню и переменяя на почте лошадей, увидел вдруг туда же вошедших разбойников его было остановивших, с которыми приехала и одна пожилая женщина, которым все тут бывшие оказывали некоторый род уважения. Г-н Смирной рассказал с ним случившееся,

но получил в ответ, что про то знает весь околодок, что они разбойники, но никто не смеет их задержать от страха, какой сия шайка всем вселила, что начальник их есть отставной прапорщик, считавшийся в гвардии капралом Родичев, который имеет в их же околодке деревню изрядную, но пятый уже год как производит разбой. Виденная женщина была его мать, которая ядом окормила своего мужа и, вдавшись в самую распутную жизнь, нередко сопутствует своего сына в его злых предприятиях, как и в сей раз в опрокинутой кибитке она вмещалась. Родичев, вступая с г-м Смирным в разговор, просил, чтоб он случившееся с ним не разглашал, что это сделалось от того, что и он и его люди были пьяны. Таковые дела были терпимы в благоустроенном государстве!— Дорога была не безопасна — да от кого ж?—От дворянина,— титло, служащее подпорою престолу.

Когда все сие делалось в губернии, губернатор о том не ведал ничего и вот вкратце его изображение. Г-н Нефедьев, встает всегда очень рано и не занимается никаким рассмотрением до губернии касающимся, а только подписывает определения, изготовленные г-м Есиповым, под присмотром губернаторши. Секретарь оные по утру приносит для подписи, которые для порядка г-н Нефедьев приказывает прочесть, а между тем сам слушая оные засыпает, в которое время секретарь продолжает чтение и когда кончит, тогда будит губернатора для подписки оных. После сего охотники приносят гнезда щенков от разных породистых собак, губернатор занимается добрые часа два сортировкой оных, назначает которых себе оставить, других в подарок, а третьих забросить. В десятом часу утра начинаются посещения, в которое время оканчивается его туалет, в продолжение которого говорят вздор, ежедневные новости и проч.; после чего карты занимают до обеда, после обеда и в вечеру. Такова была г-на Нефедьева ежедневная жизнь, исключая однако ж четверга, в который день должность губернатора была смотреть за исправностью свеч на игорных столах. В сем одном случае нельзя г-на Нефедьева не похвалить: он ведал, что губернаторская должность есть обширна, для исполнения которой потребны великие способности; он, не признавая в себе ни-

каких, пустил течение дел следовать как-нибудь и меньше всего заботился о вверенной ему губернии. В таком случае виновен он как сын отечества, что сам не откажется от должности; виновно правительство его поставившее...

А. Пишечвич.

ПРЕПИРАТЕЛЬСТВА ЧИНОВНИКОВ.

Между тем зачали оказываться неудовольствия наместника (Олон. и Арханг.) и разные притеснение и подыски на губернатора (т. е. Державина). В угодность г.-прокурора и г.-губернатора, привязываясь к губернатору, прокуроры и стряпчие всякий день входили с дельными и неделными доносами и протестами в правление. Между прочими, коих всех описывать было бы пространно и ненужно, подан был протест от прокурора в медленном якобы течении дел. Сие было одно пресмешное о медведе. Надобно его описать основательнее, дабы представить живее всю глупость и мерзость пристрастия. По отъезде наместника скоро и брат его двоюродный, полк. Ник. Тутолмин, бывший председателем в верхнем земском суде, отпущен был в отпуск на 4 месяца. На Фоминой неделе того суда заседатель Молчин шел в свое место мимо губернаторского дома поутру; к нему пристал, или он из шутки заманил с собою жившего в доме губернатора ассесора Аверина медвеженка, который был весьма ручен и за всяким ходил, кто только не приласкивал. Приведши его в суд, отворил двери и сказал прочим своим сочленам шутя: „Вот вам, братцы, новый заседатель, Михаил Иванович Медведев“. Посмеялись и тот же час выгнали вон без всякого последствия. Молчин, вышедши из присутствия в обыкновенный час, зашел к губернатору обедать, пересказал ему за смешную новость сие глупое происшествие. Губернатор, посмеявшись, сказал, что дурно так шутить в присутственных местах и что ежели (*дойдет*) до него как формою, то ему сильный сделает напрягай. Прошел месяц или более, ничего слышно не было. Напоследок дошли до него слухи из Петербурга, что некто Шишков, заседатель того же суда, в угождение наместника, довел ему историю сию с разными нелепыми прикрасами; а именно, будто медвеженок, по приказанию

губернатора, в насмешку председателя Тутолмина, худо грамоте знающего, приведен был нарочно Молчиным в суд, где и посажен на председательские кресла, а секретарь подносил ему для скрепы лист белой бумаги, к которому, намарав лапу чернилами медвеженка, прикладывали, и будто как прочие члены стали на сие негодовать, приказывая сторожу медвеженка выгнать, то Молчин кричал: „Не трогайте, медвеженок губернаторский“. Хотя очевидна была таковая или тому подобная нелепица всякому, но как генерал-прокурору и генерал-губернатору она была благоугодна, то рассказывали и по домам за удивительную новость и толковали весьма для Державина невыгодно, и видно, сделан был план в Петербурге, каким образом клевету сию произвести самым делом. В июле месяце, когда председатель Тутолмин возвратился из Петербурга к своему месту, то, не явившись к губернатору, в первое свое присутствие в суде, сделал журнал о сем происшествии по объявлению ему якобы от присутствующих. Услышав о сем, губернатор посылал к нему, чтоб он прежде с ним объяснился, нежели начинал дело на бумаге, более смеха нежели уважения достойное. Он сие пренебрег и вошел рапортом в губернское правление: выводя обиду ему и непочтенне присутственному месту, просил во удовлетворение его с кем следует поступить по законам. Губернатор, получа такой странный рапорт и приметя в нем, что будто о каком государственном деле донесено во известие и наместнику, то чтоб не столкнуться с ним в резолюциях, медлил несколько своим положением, дабы увидев, что прикажет наместник, то и исполнить. Но как от него также никакого решения не выходило, то прокурор и вошел с протестом, что дела медлятся указывая на помянутый репорт верхнего земского суда.

Губернатор, видя, что к нему привязываются всякими вздорами, дал резолюцию, чтоб, призвав наместника Тутолмина в губернское правление, поручить ему сделать выговор заседателю Молчину за таковой его неуважительный поступок месту и рекомендовать впредь членам суда быть осторожнее, чтоб они при таковых случаях, где окажется каковой беспорядок, шум или неуважение месту, поступали по гене-

ральному регламенту, взыскивая тотчас штраф с виноватого, не выходя из присутствия. Наместник, получа таковую резолюцию, и как она ему не понравилась, то будто не видал ее, а по рапорту суда предложил губернскому правлению отдать Молчина под уголовный суд. Державин, получа оное, сказал, что он по силе учреждения переменить определения губернского правления не может, а предоставляет наместнику по его должности рапортовать на него Сенату. Губернский прокурор и наместник один с протестом, а другой с формальною жалобою отнесли (к) сему правительству. Генерал-прокурор рад был таковым бумагам; подходя к сенаторам, говорил всякому его тоном: „Вот, милостивцы, смотрите, что наш умница стихотвориц делает, медведей—председателями“. Как известно, что Сенат был тогда в крайнем порабощении генерал-губернатора, и что много тогда также и наместники уважались, то и натурально, что строгий последовал указ к Державину, которым требовалось от него ответа, как бы по какому государственному делу. Ежелибы не было опасности от тех, кто судит, то никакой не было трудности ответствовать на вздор, который сам по себе был ничтожен и доказывал только пристрастие и недоброхотство генерал-прокурора и наместника, но как толь сильных врагов нельзя было не остерегаться, то Державин заградил им уста, сказав между прочим в своем ответе, что в просвещенный век Екатерины не мог он подумать, чтоб почлось ему в обвинение, когда он не почел странного сего случая за важное дело, и не велел произвести по оному следствия, как по уголовному преступлению, а только словесный сделал виноватому выговор, ибо даже думал непристойным под именем Екатерины посылать в суд указ о присутствии в суде медведя, чего не было и быть не могло. Как бы то ни было, только Сенат, потолковав ответ, положил его, как называется в долгий ящик под красное сукно. Множество было подобных придинок, но все пред невинностью и правотою, под щитом Екатерины, невзирая на недоброхотство Вяземского и Тутолмина, исчезли. Державин был переведен в лучшую Тамбовскую губернию...

Г. Державин.

ДЕРЖАВИН—ГУБЕРНАТОР В ТАМБОВЕ.

Сначала с генерал-губернатором графом Гудовичем весьма было согласно, и он губернатором весьма был доволен, как по отправлению его настоящей должности, так и по приласканию общества и его самого: как он летом посетил Тамбов, в честь его был устроен праздник, который описан в IV-й части сочинений Державина. Таковые были в продолжение лета, осени и зимы и даже в наступающем году; но они не токмо служили к одному увеселению, но и к образованию общества, а особливо дворянства, которое, можно сказать, так было грубо и необходимо, что ни одеться, ни войти, ни обращаться, как должно благородному человеку, не умели, или редкие из них, которые жили только в столицах. Для того у губернатора в доме были всякое воскресенье собрания, небольшие балы, а по четвергам концерты, в торжественные же, а особливо в государственные праздники—театральные представления, из охотников, благородных молодых людей обоего пола составленные.

Но не токмо одни увеселения, но и самые классы для молодого юношества были учреждены поденно в доме губернатора, таким образом, чтоб преподавание учения дешевле стоило и способнее и заманчивее было для молодых людей; например, для танцевального класса назначено было два дни в неделю после обеда, в которые съезжались молодые люди, желающие танцевать учиться.

Они платили танцмейстеру и его дочери, которые нарочно для того выписываны были из столицы и жили в доме губернатора, по полтине только с человека за два часа, вместо того что танцмейстер не брал менее двух рублей, когда бы он ездил к каждому в дом. Такое же было установление и для классов грамматики, арифметики и геометрии, для которых приглашены были за умеренные цены учителя из народных училищ, у которых считалось за непристойное брать уроки девицам в публичной школе. Дети и учителя были обласканы, довольствованы всякий раз чаем и всем нужным, что их чрезвычайно и утешало и ободряло соревнованием

друг против друга. Тут рисовали и шили, которые повзрослее девицы для себя театральное и нарядное платье по разным модам и костюмам, также учились представлять разные роли. Сие все было дело губернаторши, которая была как в обращении, так и во всем в том великая искусница и сама их обучала. Сие делало всякий день людство в доме губернатора и так привязало к губернаторше все общество, а особливо детей, что они почитали за чрезвычайное себе наказание, ежели когда кого из них не возьмут родители к губернатору. Несмотря на то, чрезвычайная сохранялась всегда пристойность, порядок и уважение к старшим и почтенным людям. О сем долгое время сохранялась, да и поныне сохраняется память в тамошнем краю. Да и можно видеть из пролога на открытие театра и народного училища, в помянутой же части напечатанных.

Но губернатор в сии увеселения почти не мешался, и они ему же мало не препятствовали в отправлении его должности, о которой он безпрестанно пекся, а о увеселениях, так же как и посторонние, тогда только узнавал, когда ему в кабинет приносили билет и клали пред него на стол. Сие его неусыпное занятие должностно обнаруживалось скорым правосудным течением дел и полицейскою бдительностию по всем частям управы благочиния, что также всем не токмо тогда было известно, но и донныне многим памятно. Сверх того, сколько мог, он вспомоществовал и просвещению заведением типографии, где довольное число печаталось книг, переведенных тамошним дворянством, а особливо Елисаветою Корниловою Ниловою. Печатались также и для поспешности дел публикации и указы, которые нужны были к скорейшему по губернии сведению; были также учреждены и губернские газеты для известия о проезжих через губернию именитых людях и командах и о ценах товаров, а особливо базарных хлеба, где, когда и по какой цене продавался. Сие особливо полезно было для казны при случае заготовления большого количества провианта; ибо провиантским комиссионерам не можно было возвысить чрезвычайным образом цен против тех, которые объявлены были в губернских печатных ведомостях, сочиняемых дворянскими предводителями каждого

уезда под смотрением одного надежного чиновника, живущего в губернском городе при губернаторе, который и из других рук также получал тайные для проверки сведения. Словом: в 1786 и 1787 году все шло в крайнем порядке, тишине и согласии между начальниками.

В последнем из сих годов открыто народное училище, которое принесло большую честь губернатору (как) известною речью, говоренною однодворцем Захарьиным, сочиненною губернатором по поводу тому, что преосвященный был тогда человек неученый и при нем таковых людей не было, кто бы мог сочинить на тот случай приличную проповедь. О сей речи неизлишно думается сообщить особый анекдот.

Вот он. Хаживал к губернатору из города Козлова однодворец Захарьин, который принашивал ему сочинения своего стихи, большею частию заимствованные из священного писания. В них был виден нарочитый природный дар, но ни тонкости мыслей, ни вкуса, ни познаний не имел; он ему иногда читывал свои стихи, то по способности сей хотел его поместить в какую-либо должность в приказе общественного призрения. В сие время, то есть в августе 1786 года, получен именной указ, коим непременно велено было открыть под ведомством приказа общественного призрения народное училище 22-го числа сентября, то есть в день коронавания Императрицы. День приближался. Надобно было по обыкновению при открытии училища говорить речь или проповедь. Он сообщил о сем преосвященному Феодосию, который был человек и неученый и больной, то он отказался.

Губернатор убеждал, чтоб он приказал своему хотя проповеднику то исполнить; но и в том не успел, ибо тот проповедник был дьякон, невзирая на то, хотя без всяких талантов, но человек притом невоздержанный и на тот раз пил запоем. Губернатор послал в город Ломов к архимандриту, человеку ученому, который хотя по духовному правительству принадлежал Тамбовской епархии, но по губернскому правлению Пензенской губернии. Сей обещал приехать, но дни за три до назначенного дня прислал курьера с отказом, сказав тому причину, что пензенский губернатор требует его в Пензу для сей же надобности. Получа сие, Державин не

знал, что делать; а как прилучился у него помянутый однопалачик Захарьин, то он и вымыслил, что он напишет речь, когда ему то будет позволено.

Губернатор посмеялся такому предложению, зная его к тому недостатки, но хотел видеть, что это будет за речь. Сказав ему свои мысли, как и подтверждения она быть должна, приказал, когда он придет верно, то чтоб показал ему. Сей в самом деле на другой день поутру очень рано явился с своим сочинением. Сие было сущий вздор, ни складу, ни ладу не имеющий. Он ему, сделав свои замечания, велел переделать и принести в тот же день ввечеру. Он исполнил; но и по вторичном прочтении нашлась самая та же нелепица. Итак, видя, что из однопалачических собственных мыслей и трудов ничего путного не выдет, а речь непременно иметь хотел, то и приказал он ему придти к себе в кабинет в наступающий день до свету. Он в назначенный час явился. Державин, посадя его, велел ему под диктатурою своею писать речь по собственному своему расположению и мыслям, которые он в течение дня в голове своей собрал и расположил в надлежащий порядок. Но как однопалачику не было приличного места, где бы ему ту речь по состоянию его сказать можно было (ибо в церкви нельзя, для того что он был не церковнослужитель; в школе также неуместно, ибо не был ни учитель и ни по чему не принадлежал к чиновникам сего заведения), а для того выдумал, чтоб он на таком месте сказал ее, которое может принадлежать всему народу. Вследствие чего приказал ему переписать ее набело, и на другой день, то есть накануне уже праздника, тоже поутру рано, явиться к нему в кабинет. По исполнении сего, пересмотрев и переправив еще, приказал ему, чтоб, когда процессия духовная будет возвращаться после освящения училища в собор, то чтоб он, остановив ее, начал свою речь, которая начиналась таким образом: „Дерзаю остановить тебя, почтенное собрание, среди шествия твоего“ и проч.

Сие в точности так было исполнено. Когда преосвященный со всем своим духовным причетом, отслужив молебен и окропив святою водою классы, хотел с собранием всех чинов выйти из училища, то однопалачик остановил его вышечисан-

ным началом речи; и губернатор, тотчас подступя, (пригласил) их в училище, где уже и говорена была речь перед портретом Императрицы порядочно; но при том месте, где он предавал в покровительство Государыне сына своего, жена его, стоявшая за ним с малолетним его младенцем, отдала ему оно, а он положил его перед портретом, говоря со слезами те слова, которые там написаны. Сие трогательное действие так поразило всех зрителей, что никто не мог удержаться от сладостных слез, в благодарность просветительнице народа проливаемых, и надавали столько оратору денег, что он несколько недель с приятелями своими не сходил с кабака, ибо также любил куликать. Речь сия послана была к наместнику и оттоль натурально в Петербург к Императрице, где привела Государыню столько в умиление, что она от удовольствия пролила слезы, и вообще такое произвела во всех удивление, что прислан был от графа Безбородки курьер, и именем Императрицы приказано было однодворца (привезти) в Петербург: ибо тотчас усумнились, каким образом можно было простому мужику иметь такие чувства и сведения, каковые в той речи оказались и каковых от лучших риторов ожидать только можно. Сие происшествие, а притом и успехи, тотчас показавшиеся от учения, как то, между прочим, например, что чрез несколько месяцев появилось во всем Тамбове в церквах италянское пение. Это было сделано так, что один придворный искусный певец, спадший с голоса, служил секретарем в нижней расправе и в состоянии был учить класс вокальной музыки. А как известно, что купечество в России везде охотники до духовнаго пения, то губернатор, прибавя сказанному секретарю несколько жалованья из приказа общественного призрения к получаемому им из расправы, велел учредить певческий класс по воскресеньям для охотников; то тотчас и загремела по городу вокальная музыка. Забавно и приятно видеть, когда слышишь вдруг человек 400 детей, смотрящих на одну черную доску и тянущих одну ноту. А как и другие науки (как-то арифметика), чтение и писание прекрасное показались по городу, и сенаторы граф Воронцов и Нарышкин, в начале 1787 года осмотревшие губернию, подтвердили народную похвалу Императрице относительно правосудия, успеш-

ного течения дел, безопасности, продовольствия народного и торговли, также приятных собраний и увеселений, так что начало знатное дворянство ни токмо в губернский город часто съезжаться, но и строить порядочные дома для их всегдашнего житья, переезжая даже из Москвы; то все сие и возродило в наместнике (т. е. гр. Гудовиче) некоторую зависть

Сие прежде всего приметно стало из того, что он зачинал к себе требовать и брать артистов, против воли губернатора и их самих, в Рязань для устройства там театра и прочих увеселений,—как-то машиниста, живописца и балет-мейстера, которых губернатор старанием своим выписал и содержал разными вымышленными им без ущерба казны и чьей-либо тягости способами, как то выше явствует...

Г. Державин.

БЮРОКРАТИЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II.

Что же касается характера Екатерины, думаю, что он выяснится из ее поступков. Царствование ее было счастливо и блестяще для нее и двора; но конец его был особенно гибелен для народа и империи. Все пружины управления попортились: каждый генерал, каждый губернатор, каждый начальник округа сделался самостоятельным деспотом. Места, правосудие, безнаказанность продавались за деньги: около двадцати олигархов разделяли между собой Россию под покровительством фаворита, они или сами грабили государственные доходы или предоставляли грабить другим и оспаривали друг у друга добычу, захваченную у несчастных. Случалось, что их слуги, их крепостные даже в короткий срок достигали значительных должностей и богатств. Иной, получая всего триста-четыреста рублей жалованья, увеличивал его посредством взяточничества настолько, что строил около дворца пятидесяти-тысячные дома. Екатерина и не помышлявшая разыскивать нечистые источники этих эфемерных богатств, кичилась, видя, как столица украшается у нее на глазах и рукоплескала необузданной роскоши негодяев, считая ее доказательством

благоденствия под своим владычеством. Никогда, даже во Франции, грабеж не был таким всеобщим и таким доступным. Всякий, через чьи руки шли казенные деньги на какое-нибудь предприятие, нагло оставлял себе половину и делал потом представление о получении добавочных под предлогом недостаточности отпущенных сумм: ему опять давали то, что он просил, или предприятие останавливалось. Большие воры сами участвовали в дележе награбленного мелкими и были их соучастниками. Крупный чиновник знал приблизительно, сколько дает секретарю каждая его подпись, а полковник без колебаний толковал с генералом о барышах, получаемых им с полка¹⁾.

Начиная с самого фаворита и кончая последним чиновником, все смотрели на государственную собственность, как на мачту с призами, которые надо достать, и бросались на нее с тем же бесстыдством, с каким чернь бросается на выставленного ей быка. Одни только Орловы, Потемкин и Панин занимали свои места с известным достоинством: у первых проявились некоторые способности и огромное честолюбие; у Панина же было больше достоинств: он был образован, любил родину и был добродетелен. Вообще же ничто не сравнится с ничтожеством сильных мира сего за последние годы царствования Екатерины: лишенные знаний, убеждений, возвышенных чувств и честности, они не имели даже той хвастливой чести, которая так же далека от истинной честности, как лицемерие от добродетели; бесчувственные, как колоды, лихоимцы, как мытари, хищные, как лакеи, и продаж-

¹⁾ Полковник был полным хозяином своего полка: он заведывал всеми ротами, входил во все мелочи, вел хозяйство. Русская армия живет всегда припеваючи в тех странах, где находится, будь то покоренная, дружеская или вражеская страна—это безразлично: полковники кладут почти целиком в карман суммы, предназначенные для ее содержания. Они пускают лошадей в луга, а солдат ставят на постой к крестьянам. Их жалованье равняется семи-восьмистам рублям, а их доход—пятнадцати-двадцати тысячам. Императрица раз так ответила чиновнику, ходатайствовавшему перед ней за одного бедного офицера: *Он сам виноват, что беден: ведь он долго командовал полком.* Таким образом, воровство было разрешено, а честность считалась глупостью.

ные, как субретки в комедиях, они были, по истине, зволочью империи. Их приквостни, креатуры, их лакеи и даже родня обоглащались вовсе не от их щедрот, а с помощью притеснений, творимых их именем, и торговли их кредитом: впрочем, и их самих обворовывали так же, как они обворовывали казну. Все услуги им, вплоть до самых низких, олачивались государством: часто их слуги, шуты, музыканты, личные секретари и даже гувернеры детей получали вознаграждение из какой-либо казенной кассы, бывшей в их заведывании. Некоторые из них покровительствовали талантам, уважали достойных людей; но ни те, ни другие не обоглащались около них: они им ничего не давали, не столько из жадности, как по полному отсутствию склонности к благотворительности. Только став шутом, можно было снискать их милость, и, сделавшись мошенником, извлечь из этого выгоду.

Поэтому должностными лицами и людьми сильными были в это царствование почти исключительно выскочки. Новые князья и графы роями родились на праздниках Екатерины, в то самое время, как во Франции стремились совсем отменить титулы. За исключением Салтыковых, ни одна знатная семья не была в милости. Нигде в других странах, кроме России, в том не было бы беды; но для нее это сущее несчастье, потому что там богатая знать—единственный образованный класс, в котором встречается чувство чести. К тому же все эти новые люди оказались такими голодными пиявками, что их пришлось накачивать самой чистой кровью государства и потом народа. Частая смена королей не ложится тяжестью на государство, наследующее им, но постоянные смены фаворитов и правителей, обоглащающихся и уносящих с собой его сокровища, несомненно, истощили бы всякую страну, кроме России. Сколько миллионов пошло на то, чтобы осыпать богатствами одного за другими двенадцать официальных фаворитов? Сколько понадобилось, чтобы обогатить и превратить в вельмож всяких Безбородко, Завадовских, Морковых и многих других, настолько многочисленных, что всех их и не назовешь? Орловы, Потемкины, Зубовы, не стали ли они богаче королей? И даже те, что торговали их подписями и

заведывали их разнообразными увеселениями, не стали ли и они богаче самых удачливых торговцев Европы? ¹⁾).

Насколько мягким и умеренным было правление Екатерины вблизи ее, настолько же ужасным и произвольным было оно вдали от нее. Человек, которому прямо или косвенно покровительствовал фаворит, являлся открытым тираном везде, где бы ни находился: он дерзил начальству, давил подчиненных и безнаказанно нарушал правосудие, дисциплину и указы ²⁾).

К. Массон.

ДЕЛО ОТКУПЩИКА ЛОГИНОВА И БАНКИРА СУТЕРЛАНДА.

Вместе с сим тогда же почти (1792 г.) окончены Державиным... важные два дела, а именно комиссариатское и банкирское; комиссариатское наченшееся с 1775-го или 1776 года во время самой большой силы князя Потемкина, когда происходили на Санктпетербургской винный откуп торги. Сей всемогущий любимец, взяв под покровительство свое купца Логинова, выпросил ему под свое поручительство, без всяких залогов, у Государыни тот с.-петербургской откуп без переторжки, с тем, что он, по окончании откупа, по совести объявит всю свою прибыль, полученную им сверх сложности, на которую торговались. Но как у Логинова не было наличных денег, чем вступить в откуп, то и взял он заимобразно тайным образом в Москве из комиссариатских сумм, через казначея Руднева, казенных денег 400,000 руб., с тем, что из первой выручки по откупу внесет оные обратно в казну; не помню через кого, а кажется, через некоего комиссариатского же ведомства чиновника Выродова, учинилось сие известным, и пошло следствие. Князь Потемкин под рукою и, по связи с

¹⁾ Передо мною как-раз книга под заглавием: Жизнь Екатерины II; автор вычислил в ней суммы, полученные фаворитами, но как неверен этот расчет, насколько он ниже действительности! да и как определить огромные суммы, обогатившие Орловых, Потемкиных и Зубовых, если эти три фаворита брали из казны, как из собственного кармана?

²⁾ Я хотел сказать законы, что понятней для слуха и по смыслу,—но я ведь говорю о России, где господствуют повеления (указы), а не законы.

ним, Александр Иванович Глебов, бывший генерал-комиссаром, с которого, может быть, согласия и деньги Рудневым Логинову выданы, покровительствовали или проволочили всевозможным образом сие дело, так что, хотя Глебов пожалован около того времени или, яснее сказать, отлучен от комиссариата в смоленские генерал-губернаторы, сменен и отдан под следствие по настоянию генерал-прокурора князя Вяземского; но со всем тем Логинов, требуемый к очным ставкам против Руднева, хотя всем был виден проживающим в Петербурге, но не сыскан и не представлен в Москву около 20 лет. Между тем, вскоре по взятии откупа, Логинов поссорился с товарищем своим, купцом Савиным, и заплатя ему некоторую сумму, обещав из прибыли еще наградить, оттер от откупа. Савин, быв тем недоволен, завел дело, которое, по сильной стороне Логинова, тянулось по 1792 год в Петербургском Надворном Суде, так что не мог решения дожидаться. По сей причине подал он к Державину на высочайшее имя письмо—донос, в котором жаловался, что Логинов по окончании откупа его обидел и не открыл прямой сложности правительству и не внес обещанной им в казну из прибыли десятой доли на богоугодные дела, а вместо того сделал только народный известный праздник в зимнее время, в Воронцовском доме, в котором перепоял народ до пьяна, так что несколько сот человек померзло, что и было самая правда: полиция подобрала мертвых тел поутру, как достоверно тогда уверяли, до 400 человек. Государыня, выслушав сие Савина прошение, приказала Державину призвать Логинова к себе и велеть ему, чтоб он по совести объявил ей всю сложность вина и прибыль настоящую свою от того. Логинов, хотя князь Потемкин, могущий его покровитель, уже тогда не существовал в живых, но надеялся на приверженцев и на родню сего вельможи, бывших ему приятелями, так спесиво принял повеление Императрицы, что не хотел почти и отвечать порядочно Державину, сказав: „он не верит, чтоб такое повеление дала Государыня, которая царствует по законам. Когда дело по доносу Савина производится в Надворном Суде, то оно там и в прочих учреждениях высших судах своим порядком и

окончиться долженствует, а принуждать его к какому-то еще совестному признанию в прибылях его после того, как уже он сделал из них казне пожертвование, дав народу публичный праздник, не думает он, чтоб воля была на то Императрицы“. Державин, услышав такой высокомерный сего откупщика ответ, тотчас написал на бумаге высочайшее повеление и, отдав ему, велел на оное ответствовать письменно же, и о сем тогда же донес Государыне, которая отозвалась с неудовольствием: „Хорошо, посмотрим. Я укрошу спесь“.

Через несколько дён отдала Императрица Державину письмо его Логинова, в котором жаловался он ей на призыв (его) к нему несообразный с законами, на принуждение и тому подобное, доказывая все то с своими рассуждениями. При отдаче письма сказала: „Когда так, то произведи ж дело по законам и надзирай по всем местам за ним. Я тебя сделаю моим стряпчим и ни на ком как на тебе взыщу несправедливое его решение“. Получа такое повеление, призвав к себе казенных дел стряпчего, велел ему принести из дела обстоятельную записку, дал ему наставления понуждать суд, потом палату и предостерегать пользу казенную. Таким образом довел в Сенат и до общего собрания; а когда уже был сенатором, подал свой голос, прочетши оный наперед Императрице, против всего Сената, который ему благоприятствовал, как и бывший тогда уже генерал-прокурором граф Самойлов по родству с покойным князем Потемкиным, защищал, сколько мог, его приверженца; но ничто не помогло. Вся канцелярская кручкотворная дружина против истины, защищаемой Державиным законами, не устояла, и единогласно определено с Логинова по сим двум делам, то есть по комиссариатскому и откупному, взыскать в казну более двух миллионов рублей, которых некоторая часть и взыскана; а остальные уже при Императоре Александре, по стряпне г. Новосильцова или, лучше, секретаря его Дружинина, за алтыны прощены....

Банкирское же дело было следующего содержания. Банкир Сутерланд был со всеми вельможами в великой связи, потому что он им ссужал казенные деньги, которые он принимал

из Государственного казначейства для перевода в чужие края по случающимся там министерским надобностям. Таких сумм считалось по казначейству переведенными в Англию до 6,000,000 гульденов, что сделает на наши деньги до 2-х миллионов рублей; но как министр оттуда донес Императрице, что он повеления ее выполнить не мог по неполучению им денег, справились в казначействе, и оказалось, что Сутерланду, чрез уполномоченного его поверенного Диго, деньги отданы. Справились по книгам Сутерланда: нашли, что от него в Англию еще не переведены; требовали, чтоб тотчас перевел; но он, не имея денег, объявил себя банкротом. Императрица приказала о сем банкротстве исследовать и поручила то служившему в 3-й экспедиции о государственных доходах действительному статскому советнику Васильеву, генерал-провиантмейстеру Петру Ивановичу Новосильцову и статс-секретарю Державину. Они открыли, что все казенные деньги у Сутерланда перебраны были заимообразно по роспискам и без росписок самыми знатными ближними окружающими Императрицу боярами, как-то: князем Потемкиным, князем Вяземским, графом Безбородкою, вице-канцлером Остерманом, Морковым и прочими, даже и великим князем Павлом Петровичем, которые ему не заплатили, а сверх того и сам он употребил знатные суммы на свои надобности. Князь Вяземский, граф Безбородко тотчас свой долг внесли, а прочие сказали, что воля Государынина: они современем заплатят, а теперь у них денег нет. Государыня велела поступить по законам. Сутерланд отравил себя ядом; контора запечатана; и велено ее помянутым трем чиновникам с самого ее начала счесть...

Г. Державин.

ВОЕВОДА ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II.

Отец его, Афанасий Алексеевич Бекетов, служил где-то воеводой. При Екатерине вышел он в отставку и приезжал в Петербург поблагодарить Государыню. Она его спросила: „А много ли ты, Афанасий Алексеевич, нажил на воеводстве“? — „Да что, матушка Ваше Величество! нажил дочери

приданое хорошее: и парчевые платья, и шубы; все как следует!“ — „Только и нажил?“ — „Только, матушка! И то слава-Богу!“ — „Ну, добрый ты человек, Афанасий Алексеевич! Спасибо тебе!“ Тем и кончилась аудиенция. — Надобно заметить, что тогда отправляли на воеводство—покориться. Это был употребительный термин, так что даже просились на воеводство покормиться...

М. Дмитриев.

ВОДОЧНАЯ СУМАТОХА.

Хотя по рассуждению логиков, „в том мало надежды к исправлению, кто часто исповедывается“, однако-ж еще одна исповедь лежит на моей совести, а именно: по законам, состоявшимся около сих времен, позволено было делать водки на вкус, или, как в законе сказано:—на манер французских, с тем, чтоб оные были непременно из виноградного вина или из виноградных фруктов. Заводчики таковой водки обязаны были доставлять ее казенным палатам, для испытания чрез медиков химически, а палата имела обязанность запечатать каждый штоф особо сделанною для сего печатью, и получить в казну предписанные пошрины. За всеми же подробностями, изъясненными по сей части в указах, обязаны были смотреть губернские казенных дел стряпчие. Таковым позволением желая воспользоваться, является граф Аугсберг, уроженец италийский, нации германской, житель белорусский, в деревнях помещика Чудовского. Явясь, представляет казенной палате в бутылках пробы водок, сладких и пуншевых; потом возили ящики, наполненные водкою в штофах. Палата принимает, печатает и отпускает так проворно, что губернский стряпчий казенных дел не только ею не уведомляется, но лишь только услышит, то фабрикант граф Аугсберг уехал уже с водкою из города. После чего я к которому ни войду в дом чиновнику, положенному по штату в казенной палате и в наместническом правлении, везде имею честь и вкус видеть и пить водки красные, желтые, зеленые, белые и сладкие, ликерованные, пуншевые, и все они, по словам закона, „на манер французских“. Доволен будучи гостеприим-

ством, чувствую и обижаюсь, что не могу сам так же принять, как меня принимают. Говорят, что зависть есть первородный грех человека. Не отвергая сей истины, смею думать, что человек без сего первородного греха был бы на нашем земном шаре то же, что часы без пружины. К сему мнению, вспала мне на ум критическая картинка, сделанная около 1778 года, когда немецкий император Иосиф II придвинул свои войска к Голландии, уверен будучи, что она в золоте не нуждается, и что ему голландские червонцы непротивны. Он на сей картинке представлен разрезающим на столе голландский сыр на части. Наследник престола его сметает со стола крохи, одною горстью в другую. А Фридрих Великий, смотря из-за плеча Иосифа II-го, говорит—в надписи— „и я люблю есть сыр голландский!“

Изречение и позиция сего великого монарха, представленные на картинке, столь мне понравились, что я, как-будто, стал на месте его, а граф Аугсберг, с водкою, на месте голландца с сыром. Лишь только я думаю, гадаю, с которого бы конца приняться за дело—*homo prorit, Deus disponit*, является ко мне около 5-го часа по полудни, мой товарищ, уголовных дел стряпчий Целиковский, человек рыжий, следовательно по физике скорой, предприимчивой, решительной. Он мне все то предлагает, изъясняет, разрешает, о чем я думал прежде, но еще не добирался конца.

— „Что же теперь?—вопрошаю я его,—ведь водка уже выпущена?“

— „Да выпущена! А другая впущена, и уже печатается за городскими воротами, в пустом доме г-на Голынского“.

— „А для чего же не при казенной палате? Сделана ли предписанная законом новая печать? взяты ли определенные в казну с каждого штофа пошлины? Сколько именно печатается штофов? И не свободно ли за городом вместо одной тысячи штофов, запечатать пять тысяч?“

— „Обо всем этом—отвечает наставник Целиковский—и еще о многом узнаем мы из бумаг в казенной палате сегодня или завтра пораньше, а теперь пойдем за ворота?“.

— „Пойдем“.

За воротами городскими нашли мы в необитаемом большом доме множество во многих комнатах ящиков, с наполненною в штофах водкою, которые печатал казенной палаты один приказной с работниками графа Аугсберга. Вскоре явился к нам и ассесор палаты г. Буров.

— „Что вы печатаете за городом?“ спросили мы его.

— „А вам что за дело? отвечал он; знает об этом палата казенная“.

После невежливого ответа, взял я от печатавшего приказного служителя печать, и Бурову сказал:— „Эту печать должно, по силе закона, заклепать, а новую сделать с повеленною надписью“.

— „Мы имеем честь вам сказать—если вы не знали, что мы губерньские стряпчие, которые, по словам закона: *смотрят везде*; теперь вы, не спрашивая нас, можете знать, что нам за дело“.

С печатью пошли мы к губерньскому прокурору, а он, узнав от нас существо и обстоятельства дела, пошел вместе с нами к губернатору, которого нашли мы играющего в карты, в доме зятя своего соляного пристава Познякова. Губернатор выслушал от прокурора все и не сказал ничего. Мы, вышед от него, толкнулись в палату, дабы прочесть водочные бумаги, но палату нашли замкнутою. Оттуда шествовали к городничему, которого понудили отправить при себе, к водке конвой, и потом разошлись спать.

По утру сошлись раньше обыкновенного в палату, и не нашли журнала о водке; из палаты—в уездное казначейство, где нашли, что казначей не только не получил в казну пошлин, положенных с каждого штофа по 10-ти копеек, но и повеления на то от палаты не имел. Прокурор, с прописанием всего, сообщил казенной палате, и требовал, чтобы отобранная вчера печать была уничтожена, а на место ее сделана новая с надписью, в законе предписанною, и чтобы водка печатаема была при казенной палате, а не за городом. А от наместнического правления, и особо от губернатора, требовал письменно же, чтобы водка пропущена была в город, где он, прокурор, предоставляет себе открытие свойства и качества оной.

Не буйные ветры зашумели, не мутная лужа всколебалась, палатные члены всхорохорились. — Натурально! Кому приятно быть пойману на преступлении должности. .

Они бросились к губернатору,
К губернатору Черемисину,
И поют ему громогласную:
— Как матросы встарь на Неве реке,
На Васильевском славном острове —
„Ох ты, гой, еси, ты наш батюшка!
Нас поймали-то за воротами.
На печатанье водки хлебная,
Прокурор Семен и со стряпчими,
Как со стряпчими со губерскими.
Ты—ведь сам нам дал повеление,
Чтоб печатали за воротами.
Ты, отведавши водки графские.
Рек по книжному: „в сиедь добра зело“.
А теперь они нас крутят вертят“.

Что возговорит Черемисинов:

„Ох вы, гой, еси, вы друзья мои,
Вы друзья мои, два зятя мои,
Позняков, Захар и Наркиз Вон-ляр,
А за ними уж и Бояринов.
Мы по всякой день за столом одним,
За столом одним хлеб и соль ядим.
Не робейте вы и не думайте.
Малорослого прокурора я,
Кулаком одним, как в мешке, сомну.
Целиковского рыжевласого
Толкачем столку на блины в муку.
Философа-та я Добрынина
На пушу к себе и в переднюю.
Ой, жена моя Анна Ивановна!
Губернаторша расторопная,
Научи меня как судить рядить.
Мне не в первой раз тебя слушать
Твой совет всегда мне как новой чинк.
Ах, как тягостно быть при должности,
Когда чувствуешь, что и туп и глуп.

Что возговорит жена добрая,

Губернаторша расторопная:

„Ох, ты, гой, еси, удалой наш зять,
Удалой наш зять, ты Наркиз Вонляр,
Ты бери скорей перо острое,
Что очинено тобой в корпусе,

Пиши грамоту в Санкт-Петербург.
При дворе сидит добродетель наш,
Что наместником в Белоруссии,
Родной дядя твой Петр Богданович“.

Не кавылушка—трава белая
Во чистом поле забелелася,
Загорелися ретивы сердца;
Прокурор Семен и со стряпчими,
В свою очередь, ну туда ж писать.

Надобно знать что в царствование Екатерины Великой, государевы наместники в губерниях были сильны, потому что были в доверии; а доверие царское, для особ „природою почтенных, разумных и честных, искусством укрепленных“, есть основанием к тому, чтоб они говорили языком истины; почему и сужду: полученное из Петербурга в могилевском наместническом правлении от генерал-губернатора Петра Богдановича Пассека, на посланные к нему от всех нас бумаги, предложение, копия с которого по ныне у меня уцелела, поместить здесь от слова до слова, дабы во-первых, не сделать сокращением недостатка в ясности дела; во-вторых, чтобы припомнить и повторить себе, какой имели тон главнокомандующие губерниями в благополучное царствование Екатерины Великой.

„Могилевскому наместническому правлению
Предложение.

„Рассматривая вступившие ко мне бумаги: 1-е, рапорт правителя могилевского наместничества, —на действительного статского советника Черемисинова, и при оном, 2-е, могилевской казенной палаты донесение, 3-е, могилевского губернского прокурора Герасимова рапорт а в оригинале, поданные ему правителю наместничества, 4-е, рапорт же, помянутого Герасимова, на имя мое отправленной, с приложениями подаваемых им в казенную палату и г-ну правителю наместничества и прочих бумаг, в копии, относительно обретенной господами губернскими стряпчими за городскими воротами, в необитаемом доме, водки, печатаемой казенной палаты печатью копиистом Тимофеевым, без быт-

ности от стороны казенной палаты члена, нахожу сказать следующее:

„Как указами правительствующего сената предписано: 1) от 9-го октября 1788 г. составляемую заводчиками из виноградного вина водку, чтоб продавали ящиками, запечатав в казенной палате каждой штоф, равномерно и содержащим погреба объявить, дабы от заводчиков незапечатанных в казенной палате штофов с водкою не покупали, под опасением поступления по законам; при чем и стряпчим казенных дел от наместнических правлений учинить строгое подтверждение, чтоб они, по силе своей должности, начертанной в высочайших учреждениях, всемерно старались не допускать до подобных злоупотреблений, производя в таком случае заблаговременно жалобу, как истцы со стороны казенной; 2) от 1-го д. августа сего 1795 г. в 8-м пункте изображено: в привилегиях, данных до издания высочайшего устава о вине, на заведение водочных заводов, именно включалось, чтоб водки на них делать *виноградные*; равномерно и одного устава статью 59-ю дозволено всякому только делание виноградного вина и виноградной водки, о исполнении чего и указами сената, от 9-го дня октября 1788 г. и от 17-го дня ноября 1794 г. подтверждено. Почему и иметь строжайшее за водочными заводами смотрение, чтоб на них водки, по силе помянутых предписаний, сделаны были единственно из виноградного вина и виноградных фруктов. В продажу же производить делаемые на тех заводах вейновые водки, по указу 1788 г. ящиками, с казенною на каждом штофе печатью, с платежом положенной указом 1773 г. августа 8-го дня пошлины, а для запечатания представлять в казенные палаты. В 9-м пункте сказано: для печатания всех водок, делаемых в России, иметь особую печать, с надписью: „печать для российских водок“, для иностранных же водок тем указом велено зделать особую печать и, по учинении ныне осмотров, оными печатями все водки запечатывать.

„Следуя выполнению толь ясных предписаний, не нахожу я ничего такого, как казенная палата пишет, чтоб поступлено было со стороны губернских стряпчих и прокурора

против их должности, но вместо того, одобряя их деятельность, не могу похвалить распоряжения казенной палаты на сей случай зделанного, ибо изо всего ею пространного и обидного для прокурора и стряпчих объяснения, нисколько не может укрыться зделанное ею упущение: 1) что зделав журнал, о принятии за печатание водки в казну акциза, прежде еще исполнения сего, печатаема уже была водка одним копейником в необитаемом за городскими воротами доме; что зделано также и против вышесказанных предписаний, и против журнала, поелику ассессор Буров, чтоб точно находился всегда на месте печатания, того из объяснения палаты не видно. А доказательство ею на сие učinенное, подобно как и о стороже казенной палаты, которого губернский прокурор, с стряпчими не нашел в палате, есть странно и непристойно, что один выходил для законной своей, а последний, по естественной надобности на двор, и стряпчие, будто, сего времени нарочно выжидали; 2) когда и в какое время казенная палата располагалась печатать водку, надобно было объявить о сем губернскому казенных дел стряпчему, а по небытности его и уголовному, поелику они по своей части один другого места занимают; 3) печатание производимо было за городом, а не при казенной палате, и 4) имевши уже донос губернского прокурора, что водка печатается непозволенная, а зделанная из хлеба; но и тут палата, не уважа доноса губернского прокурора, принуждала стряпчего быть при запечатании, который больше осторожности зделал, что к исполнению сего не приступил, не будучи при ее прсбе, нежели палата, что осмелилась за сим, в угодность хозяина водки, оную допечатать. Итак, сим объявив зделанные по сей части упущения, рекомендую наместническому правлению, донос губернского прокурора и стряпчих обнаружа посредством медицинских чинов, находящихся в Могилеву, поступить по предписанию законов, и впредь печатание оной производить при казенной палате; а чтоб избегнуть тесноты и траты штофов, то ежедневно назначить к печатанию одной водки штофов от ста до пятисот, приставляя к оной военную стражу, доколе будет производиться запечатание оных, и на тот раз извещать о

бытии при сем случае казенных дел стряпчего и медицинских всех чинов, находящихся в городе, и наконец, нужным почитаю строго подтвердить, иметь и за водочными сего рода заводами смотрение, чтоб на них водки, по силе помянутых предписаний, делаемы были единственно из виноградного вина и виноградных фруктов.

Петр Пассек.

Сентября 17-го дня, 1795 г. С.-Петербург.

После сего, граф Аугсберг удостоивал всегда факультета прокурорского поднесением, в ящиках или полуящиках, своих водок, для пробы, когда привозит их печатать. А мы в сем случае, поступили как полу-честные служивые: ибо хотя граф не в силах был представлять всегда водку, делаемую из виноградного вина и виноградных фруктов, однакож и хлебной представлять не осмеливался, а дополнял иногда часть доставки водкою, деланною из туземных садовых фруктов.

Теперь очень ясно, что подражание Фридриху Великому, который говорил: „и я люблю есть сыр голландский“, не оставило всех нас троих без награды; а мне сверх того, определено было от графа на каждый год 360 р., то-есть, повторение моего жалованья. Сим кончилась вторая исповедь: но грехом моим не долго я пользовался, так что едва ускорил получить дважды годовой мой оклад. Причина сей краткости всеобщее в России несчастье для кающихся грешников, для закоснелых во грехах и для самых праведников. Несчастье, которое стихотворцы стали бы изъяснять: взошла мрачная туча и среди-дневной свет покрыла ночную темнотою. Страшные жерлы ее разродились в горизонте, произвели холодное и ужасное во всей империи наводнение. Молния беспрерывно рассекала горизонт, смертельные громовые удары разили, и проч. Но все таковые изъяснения были бы не что иное, как тень вместо тела, следовательно, нет тут нужды ни в бурях, ни в тучках, ни в молниях, ни в громах, а довольно сказать: умерла государыня императрица Екатерина II, в ноябре месяце 1796 г. по тридцати-четыре-летнем царствовании.

Г. Добрынин.

СПЛАВ КАЗЕННОГО ЛЕСА.

По определении меня из стряпчего верхнего земского суда в губернские стряпчие, первым к моей заботе было предметом, как бы мне попасть в следы моих предместников, из которых один набогатился и вышел в губернское правление советником, положа в сохранную судную казну витебским езуитам 50,000 р., а другой преемник его хотя не успел набогатиться за скорою кончиною, однакож и в краткое время приметно было, что место губернского стряпчего казенных дел было для него полезно. Но я, вступая в новую для меня должность, искал и не находил, чем? и что начать? и за что приниматься? Давно говорят и пишут, что случай всегда тому встречается, если кто его ищет.

Бывший в деревнях государственного казначея управителем г. З., первый мой в Белоруссии знакомец и приятель, открыл мне желанный случай. Он, поздравя меня в новой должности, спросил:

Знаю ли я, где теперь экономии директора секретарь Б.?

— „Не знаю“...

— Он торгует мачтами, вырубленными из казенных лесов...

— „Это любопытно, скажите яснее“.

— В казенных имениях есть мачтовые леса; ими часто пользовались арендаторы казенных имений и другие, по милости секретарей директора экономии; яснее вам сказать: леса сплавливали в Ригу, под именем помещичьих, казенными крестьянами, и получали за то немалые суммы денег, а директора этого не видали, или видеть не хотели, или имели причины не хотеть. До этого мне дела нет. Случилось и мне несколько попользоваться, когда я жил по соседству с казенными имениями, управляя деревнями государственного казначея, однакож промысел сей бросил, во-первых потому, что он, при случае обнаружения больше принесет несчастья, нежели при удачных случаях прибыли; во-вторых потому, что я уже теперь, славу Богу, доволен, ничем не

нуждаюсь; а в-третьих потому, что секретарь Б. меня обманул. Он слишком много воспользовался, а я только был на него работник. Теперь он сам работает в казенном старосте NN., а тамошний казенный эконом Ольшевский погонит Двиною казенные мачты, казенными поселянами, в Ригу, под именем помещичьих. Они вырученные за продажу деньги разделят, а вы теперь губернский казенных дел стряпчий. Вот вам и яснее, заключил г. З.

— „Понимаю, сказал я, всю силу ясности и всю обиду моего звания. Поверьте, что я не дам им воспользоваться казенным добром и моею слабостью, и вам благодарен за открытие мне казенного воровства“.

Вскоре Б. возвратился и меня посетил. Я встретил его приветствием:

— Что, брат, ездил торговать казенными мачтами, под названием мачт Ольшевского!..

— „А что? разве об этом кто знает?“..

— По крайней мере, мне это известно.

— „Ну, эта беда не беда, когда она известна одному только; а сколько вам за это надобно? вот задаток на пять сот рублей, двадцать червонцев—и тотчас высыпал из кошелька на стол—а остальные, какими прикажешь? серебром, золотом, ассигнациями? чрез две недели, получите“. Дело сделано! и имевший ревность открыть похищение с похитителями поладил. Честь, нравственность уступили место пороку, но уступивши, не оставили меня без наказания, которого я и был достоин, ежели это достоинство.

Я должен сказать, что не корыстолюбием побужден был к нарушению моей должности, но стыдом—может быть ложным,—что губернский стряпчий не в силах иметь ни стола, ни дрожек, а только едва может собраться во что одеться по приличию своего звания, как, между тем, некоторые чиновники и секретари щеголяют и изобилуют; и по сей наружности, начальство ценит их достоинства.

Проходят вместо двух 4 недели, проходят и два месяца, а уплаты нет; напоминания мои о взаимном соблюдении нашего тракта были тщетны, и я увидел, что я дал себя обмануть. Но нечего было делать, как только терпеть...

Но—чуждое и непостижимое сплетение вещей! и, ежели взять в замечание некоторые прошедшие в нашей жизни места, которые нас интересовали, или заботили, то найдем, что действовала ими какая-то невидимая пружина, которая двигала и распоряжала все по своим законам с намерением, наприим.: я, замешавшись в шайку людей, неимеющих слабости руководствоваться нравственностью и самою честью, расхорохорился и сам поправить себя пороком мщения, под образом должности, и не знал с чего начать; а нечаянной случай указал мне путь:

В один день, когда я шел в присутствие, встречается мне на улице куча мужиков, человек 12.—Я от роду моего никакого мужика, встречающегося со мною в городе, не спрашивал, кто он? откуда? куда? а теперь без малейшего намерения, по непонятному инстинкту, спросил.

Они отвечали: „из казенного староства NN.“.

— Кто у вас эконоом? где он теперь?

— „Ольшевский; он поехал в Ригу, а мы, теперь, туда мачты сплавливаем, и зашли с берега в город купить харчей на путь“.

Мачты Днепром сплавливаются до некоторого расстояния; а оттуда сухим путем до реки Лучосы, впадающей при Витебске в Двину, а по Двине весною сплавливаются они в Ригу.

— В чьем лесу вырублены мачты?

— „В казенном“.

— Кто были работники?

— „Мы, и рубили всею волостью, по приказанию эконома Ольшевского“.

Я велел им итти за собою в наше прокурорское присутствие; там написал все их показание в моем наместническому правлению представлении,—при котором представил и поселян—требуя, яко губернский стряпчий казенных дел, допросить их и дело исследовать по законному порядку. Наместническое правление отослало все в полицию, а полиция, тот же час допрося, представила в правление при рапорте допросы их, которые оказались во всем согласны с моим представлением.

Правление рассуждая из допросов, что многие мачты уже в пути, а некоторые и в Риге, не остановило хода торговли, отослало допрошенных на мачты, для продолжения сплавки; а ригскому наместническому правлению сообщило о наложении ареста на все те мачты, о числе которых показали казенные поселяне во взятых с них в могилевской полиции, по указу наместнического правления, последовавшему на представление губернского казенных дел стряпчего, допросах. Нижнему земскому суду того уезда, в котором вырублены мачты, строжайше велено исследовать о количестве повреждения, и в скорости отослать исследование в уездный суд, для законового течения и приговора—как будто нижний земский суд не ведал о публичном в его уезде воровстве.

Б., узнав беду, прискакал в Могилев, но отвращать ее было уже поздно. Ольшевский из Риги успел уже ему услужить уведомлением, что „арестованных мачт нельзя ни продать, ни заложить, а советуют ему, Ольшевскому, употребить крайний способ—потопить их в Двине, дабы не допустить до гнилости“.—„Вот совет—продолжает Ольшевский,—из которого прибыли ни на копейку, а беда еще впереди“. Быковец сообщил мне это письмо в намерении упрека. Я ему отвечал: „кто из нас прежде солгал и обманул, тот и сам обманулся“.

Исповедь кончилась, но чем кончилось дело о мачтах—верно сказать не могу, потому что вскоре последовала перемена престола, а с нею губернии Могилевская и Полоцкая соединены в одну Витебскую, куда и нам с Б. и другими, пал жребий службы переехать к должностям—о чем обстоятельнее скажется в 1796-м году.

В сей суматохе и мачтовое дело могло уничтожиться, или, может-быть, один только Ольшевский воспользовался—если сохранил свою добычу, по наставлению, от сожгения—и Б. ничего не досталось. Если же сие дело в Могилеве и в Риге попало в реестр нерешенных, то вероятно, что оно с другими подобными, по заведенному в некоторых присутственных местах славному порядку, вечно будет считаться в числе нерешенных, по силе всеобщего для смертных нравоучительного мнения: мы никогда не оканчиваем своих дел“...

Г. Добрынин.

ЧЕРНОМОРЬЕ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II.

I.

Проходя раз, днем, по берегу Дуная, я заметил, что к нему подъезжала лодка с черноморскими казаками. Я остановился и без всяких мыслей поджидал, пока лодка пристанет к берегу. Лодка пристала; из нее вышел офицер с георгиевским крестом на груди; это был полковник Головатый—начальник пехоты черноморских казаков. В нем-то судьба указала мне впоследствии начальника моего, руководителя моей службы и всех последствий, от нее происшедших.

Головатый, поровнявшись со мною, спросил, что я за человек и что мне надобно? Я объявил ему, что дворянин, заехал в чужую сторону, не имею ни денег, ни хлеба, едва не умираю с голода, и желал бы поступить в службу. Он осмотрел меня—я был видный молодой человек, одет пристойно; спросил, откуда родом? Я отвечал: из местечка Ирклеева. „А, вражий сын,—сказал он,—ще и земляк“!

Потом, порасспросивши меня и узнавши, что я человек письменный, был секретарем в земском суде,—сказал:

— „Таких хлопцев нам треба! Обожди меня трохи, мне треба повидеться с панами“.

Чрез два—три часа, Головатый возвратился и взял меня с собою на лодку. Мы отправились к острову близ Браилова, где стояла черноморская флотилия из 50-ти или более лодок черноморских казаков. Тогда была война с Турциею и в отсутствие Потемкина командовал армиею князь Репнин. Это было в 17... году.

На-утро Головатый приказал мне явиться в канцелярию его. Я пришел в канцелярию, представился управляющему канцеляриею; он велел мне сесть и писать...

На острове близ Галаца простояли мы до осени, а на осень вышли на твердую землю при реке Серете. Здесь выстроили землянки.

Осенние ночи были и сыры и холодны, при том же были и лихорадки на людях. По молодости и по непривычке к бивачной жизни, проводить такие ночи в землянке мне было

трудно: ни постилки, ни укрыться было нечем; но, к счастью моему, меня знал провиантский чиновник, заведывающий хлебными магазинами; он позволил мне помещаться на ночь в провиантском магазине, и я, подостлавши один куль и укрывшись другим, проводил ночи, не страдая от стужи, и сила молодости придавала самый покойный сон!

Когда стояли мы еще на острове близ Галаца,—в это время приезжал для смотра черноморских лодок светлейший князь Потемкин, на яхте, и я видел его. С ним приезжала какая-то дама, которую называл он Катериною,—кажется, племянница его.

Команде велено было отправиться на зиму на остров Березань, близ Очакова, где был и кош. Я отправился вместе с командою и нес на себе, как прочие казаки, сухари; в то время была еще у меня лихорадка, я отстал от команды и пошел боковою дорогою, надеясь, если не догоню команды, ночевать где-нибудь по дороге в землянке. Долго шел утомленный, село солнце, наконец, и ночь; жилья никакого не было, а степь необъятная. Я остановился, помолился Богу, лег на траве и укутался шинелью. Кроме палки, никакого другого оружия при мне не было. Проснулся, солнце уже взошло; пустился опять в путь, не зная, далеко ли еще осталось идти, и куда идти.

Вдруг увидел ехавшего по дороге человека; спросил у него: далеко ли до команды конных казаков, которые, как известно мне было, стояли недалеко, близ Измаила. Он сказал, что будет верст 30, и указал мне путь. К вечеру дошел я до куреня конной команды, явился к куренному атаману, объявил, что я казак Васютинского куреня—писарь из канцелярии полковника Головатого. Меня приняли, накормили и на другой день отправили, вместе с казаками, на повозке, до селения Слободзеи, где явился к начальнику—черноморскому полковнику Мокию, объяснил ему, что отстал от команды по болезни, что едва не умер было в дороге, совершенно ничего не помню и не знаю, как дойти до Березани; этим думал я подвигнуть его к состраданию и помощи мне;—в ответ получил, что и не такие люди как я, но и получше, пропадают в степи! Между тем меня оставили в Сло-

бодзее в ожидании оказии, когда будет в Березань, и поместили в одном курене.

Слободзея—обширное селение на Днестре. Там жили черноморцы, молдованы, малороссияне и поляки. У полковника Головатого был здесь дом и семейство его; казаки, не имеющие здесь собственных домов, жили бедно и во всем нуждались; провиант отпускали им не такой, как для армейских полков, а пополам с песком. Из такой муки можно было еще есть хлеб тогда, когда он горячий, только что испечен; а как застынет, то и не угрызешь. Иногда ночью, когда уже спали, вдруг слышишь зов: „вставайте, казаки! хлебы из печи вынули“, и я вставал вместе с другими и принимался есть горячий хлеб. „Голод не тетка!“—говорит пословица. Хлеб по ночам с песком был мне не по вкусу; нередко я ходил по селению и выпрашивал у добрых людей для себя белого хлеба; заходя в дома молдаван, я заметил, что они мамалыги—род коржей, кладут под подушки. Случалось, что иногда, зайдя в дом молдованина и не заставая в нем никого, голод подвергал меня искушению и я похищал мамалыгу. Таким образом, проживши в Слободзее месяц, я испытывал крайнюю нужду и голод...

Из Слободзеи отправлялся на Березань один еврей-шинкарь с бочкою водки; он пригласил меня отправиться вместе с ним, и я рад был этому случаю, чтобы не идти одному; а между тем еврей и продовольствовал меня в пути, что было мне весьма кстати. В дороге пробыли около месяца и ехали все пустою степью, верст 400. Проезжая мимо Гаджи-Бея—нынешней Одессы; там было только два—три десятка простых изб и с полсотни землянок. Это было в 1792 году. Что ныне Одесса и что ожидает еще ее впереди!..

По распоряжению правительства, предположено было снять с Березани кош и перевести его на остров Тамань. От Головатого предписано было мне сделать подробную опись строений кошевых и казенного имущества: снарядов, провианта и проч. Все это было мною исполнено, и Головатый остался доволен...

Провиант и некоторые кошевые тяжести велено было продать и это поручено мне вместе с провиантским чинов-

ником. Покупщик провианта из благодарности сделал мне пару платья хорошего сукна, и я, по крайней мере, был одет прилично. Орудия артиллерийские и порох перевезли в Ениколь и на зиму кош отправили на остров Тамань.

II.

Переезд из Ениколя в Тамань—через Керченский пролив, шириною до 30-ти верст; было глубокое осеннее время, в ноябре или декабре месяце, так что по проливу образовался и шел уже сильно лед. Была изготовлена лодка с мачтою; подполковник Сутыка отправился вместе со мною и еще восемью или десятью человеками. Ветер с моря был очень сильный; приближался вечер, и лодка оказалась ненадежною: проехав немного, ветер сломил мачту; должно бы было воротиться назад, но подполковник был человек решительный: велел кое-как исправить и поставить вновь мачту. Пустились далее, а льдины все более и более собирались в огромные массы и затрудняли путь, грозя силою течения опрокинуть лодку; наконец, за версту или две от берега Тамани, льдины сделались совершенно сплошными, только кое-где оставались между ними маленькие дорожки и ими-то мы с величайшим трудом добрались до берега. Опасность в плаваньи была большая: каждую минуту лодку нашу могло затереть льдом и опрокинуть ее; но милосердный Господь сохранил жизнь мою!

По приезде в Тамань (в 1794 году), явились Сутыка и я к начальнику—полковнику Головатому; он принял нас ласково, и велел мне явиться к нему на другой день. Когда я явился к нему, расспрашивал меня о житье нашем в Березани и между тем спросил об Очаковском городничем Зорине и о том как отозвался он о куренях, подаренных Головатым графу Салтыкову?

Надобно сказать, что курени, построенные казаками на Березани, собственными средствами, без пособия казны, были их собственностью; они были ни что иное, как землянки, в которых очень мало употреблено лесу, и потому они стоили весьма малой ценности. У графа Салтыкова, близь Очакова,

было имение. Курени эти Головатый подарил Салтыкову, для чего препроводил к нему в С.-Петербург составленную мною опис куреням; но, не выдавши их в натуре, по описи нельзя было судить о достоинстве их, и как около Очакова места безлесные, то 40 куреней в такой стороне могли представляться приятною находкою; но курени, в которых в каждом было только по 8-ми небольших бревен, сами по себе стоили весьма незначительные цены. Граф Салтыков переслал опись к городничему Зорину, чтобы он принял по ней курени и отправил их в имение его. По этому-то случаю и спросил меня Головатый о Зорине.

У Головатого были в это время гости—свои подчиненные, и некоторые с женами. На вопрос его о Зорине и о том—как отозвался он о подаренных графу Салтыкову куренях, я затруднился отвечать ему, сказавши, что Зорин отозвался очень нехорошо, так что совестно и непристойно даже и повторить слова его, особенно при дамах. Он приказал мне сказать прямо, и я, исполняя волю начальника, сказал, что Зорин отозвался так:

— „Соломон этот Головатый!“

И прямо на-бело повторил то, чем заключил Зорин эту фразу—из русского народного словаря... Это заставило расхохотаться Головатого; он велел мне еще повторить ответ городничего, и я повторил его в присутствии дам... Патриархальная простота нравов! Давно было это и притом в Черномории; а черноморцы тогдашнего времени, составлявшие сборище людей со всех сторон—вовсе не отличались деликатностью, свойственною позднему времени и образованию...

Атаман Чепига с кавалериею воротился из похода в 1793 г., за год до прихода пехоты черноморских казаков, и основал кош свой, то-есть построил землянки, в 200 верстах от острова Тамани, на Кубани. Место это было изобильно лесом и водою; оно показалось выгодным для устройства постоянного города, и приступили к устройству: заложили церковь, выстроили дом для канцелярии и начали строить частные дома. Затем последовало и разрешение правительства: быть здесь городу, который и назван Екатеринодаром.

Избранием места для города на Кубани Головатый сделал большую, невознаградимую ошибку: место это окружено болотами; в весеннее время свирепствуют там лихорадки и производят в народе сильную смертность. Заметил это и атаман, но уже поздно, когда существование города было утверждено, начаты и окончены некоторые капитальные постройки. Вот каким образом образовался Екатеринодар. Со стороны правительства не было прислано опытных и сведущих людей для осмотра удобства места для поселения. С того времени доныне Екатеринодар все так же место самое нездоровое и особенно весною много умирает людей. Самое лучшее место для основания города было бы остров Тамань— в отношении здоровья людей; но в отношении военном, охранения границ от набегов закубанцев, Екатеринодар представляет преимущество...

Казак Мигрин.

Армия.

КАК НАЖИВАЛИСЬ ЭСКАДРОННЫЕ КОМАНДИРЫ.

Сей переход открыл мне глаза, каким образом наживаются в России эскадронные командиры, и с сего времени мои затеи ехать в Польшу исчезли. Я легко, зная себя, видел, что я не только не соберу денег, но и занятых у г-на Буткевича не выплачу. Здесь я ясно видел себя в довольно жалком положении: нажива от эскадрона не могла иначе произойти, как грабя казну, следственно, обнищивая солдата, защиту отечества, моему начальству, моему призрению вверенного; нажива от поселян сопряжена была с ограблением их собственности, то и другое должно было с уничтожением своего доброго имени производить! Боже, какого духа должно было быть, чтоб пуститься на такую гнусность!

При всем этом содержать себя надобно было,—я в полку находился сверх комплекта,—и содержась с некоторою роскошью, как ради того, что я попался в такое общество, где совершенно жить умели, так и потому, что проведали достаток отца моего, на поддержание которого и его чина я ничего не имел; следственно, подлежало прибегнуть к новым займам, дабы предстать между людей соответственно моему званию, и потому я, возвратившись в эскадрон, перевел оный в помянутые квартиры, в которых пробыл до совершенного устроения всех выгод для солдата. Лог было селение, не хуже мною оставленного, и сим кончился 1792 год. Нельзя не сказать того, что во время сего перехода я бы мог нажить из-

рядные деньги; крестьяне, по селениям которых я с эскадром проходил, были крайне именован солдатским настроены, который в них страх чины земского суда старались поддерживать своей ради пользы. Исправник Горбунов выехал мне на встречу для препровождения эскадрона, предлагал мне разные дороги кривые к достижению Лога; мужики лишь сведали о сем посещении, то и стеклись на мой путь с деньгами для откупления себя от оногo; я отрекся от их подарков, говоря, что долг мой есть прямейшим трактом следовать. Уверял их, что они не имеют причины опасаться солдат, которые суть не разбойники, но их сограждане и защитники, водимые начальниками, которые честью своею обязаны не допускать своих подчиненных ни до каких шалостей. Все сие было не по сердцу г-на Горбунова, который после в Саратове говорил, что я способен просвещать народ и весьма похож на такого человека, который готов революцию затеять, одним словом, по его мнению, я принадлежал к обществу Якобинцев. По маршруту г-на Горбунова я бы кружился около своих квартир месяц или и более тогда, когда я в шесть дней кончил сей путь. Он хотел играть роль Моисея, но в моем эскадроне не нашел Израильтян, и я расположен был узреть землю Логовскую прежде сорока лет. С сего времени сей г-н Горбунов меня не полюбил, но я не о его добротстве помышлял, а о своей должности. Денег бы и с ним разделившись на мою часть из сего похода досталось тысячи две рублей, но я лучше согласился веселиться, занимая оные, нежели грабить моих соотчичей...

А. Шишчич.

ПРОИСШЕСТВИЕ С ПЛЕННЫМИ.

В сию мою в Тамбов поездку, мне удалось быть очевидцем следующего трогательного происшествия: человек с полтора ста пленных Поляков, в числе которых находилось три офицера, приведены были из своей отчизны в сей город, которыми долженствовали пополниться убылые места в Тамбовском гарнизонном баталионе. Сии несчастные уже раз присягали на верность Монархии Российской, но Тамбовский

комендант полковник Булдаков вздумал их еще раз заставить целовать крест и евангелие греческой веры, будучи они католики. Один из пленных офицеров осмелился предложить, что они уже раз присягали, так чтоб им истолковали в чем будет состоять вторичная их присяга. За такое любопытство невежда комендант сему порядочно-воспитанному поляку велел к спине приложить около тысячи полновесных палочных ударов. Таким образом поступаемо было с польскими патриотами в России!—Всякую боль к себе надлежит применить, почему и не можно не соболезновать о участи сих несчастных, которые, защищая свои права, свое отечество, переменчивым счастьем войны достались в наши руки, а с ними поступают, как с тварью!—Да и кто же?—Россияне! которые, будучи сами герои, должныствовали бы почесть неустрашимость в своих неприятелях...

А. Пишчевич.

ЖИЗНЬ ОФИЦЕРА В ЛАГЕРЕ.

Вскоре по приезде моем, в лагере ¹⁾ гоняли сквозь строй рядового, при чем и я был по должности. Едва я услышал вопль и увидел кровь, голова моя закружилась, в глазах потемнело: я упал в обморок, и очутился под арестом...

В мое время в лагерном быту офицеры ни в чем не нуждались. У полковников были тогда хозяйственные суммы от различных денежных статей и употреблялись без отчетно. У нашего батальонного начальника, Петра Степановича Бибикова, был каждый день открытый стол для всех офицеров. Кофе, чай, закуска, ужин не сходили со столов. Сверх того, неимущим офицерам покупали шарфы, а иногда снаряжали полный мундир. Все молодые полковники в московских батальонах были молодцы в полном смысле слова. В числе их находился и князь Сергей Николаевич Долгорукий. Он первый привез в лагерь под *Осиновые рощи* послание *К женщинам* Карамзина. На подхват летало оно тогда из рук в руки. С поэзией стихотворною сливалась у нас и поэзия военная.

¹⁾ В 1796 г., под „Осиновыми рощами“.

Нередко по вечерам после веселых пирушек, полковники наши приказывали ротам, а иногда и батальонам, заряжать ружья (разумеется, холодными зарядами) и вступать в бой. О стрельбе нашей доходили вести до Екатерины, и она говорила: „Пусть себе веселятся, им скоро будет дело“. Познакомься 1808 года с княгиней Дашковой, я при первом свидании предложил ей вопрос: „Как обзревала Екатерина французскую революцию, когда она вспыхнула?“ Княгиня отвечала: „Привыкнув к учрежденному ходу общества, Екатерина полагала, что революция будет порывом мгновенным“. Но этот порыв, который дольновидный Жан-Жак Руссо предсказывал до 1789 года, превратясь в грозную бурю, опрокинул во Франции всю Францию и вринул в области сопредельные. Войска республиканские гремели на берегах Рейна; Бонапарт, по словам Суворова, „смело шагая“, обходил исполинские вершины гор Альпийских, чрез которые с таким усилием переходил Аннибал, орлиным полетом с гор Апеннинских изумлял и разил Австрийскую армию. Жаром юности кипело и сердце ветерана славы и побед, сердце Суворова. Непрестанно писал он Екатерине: „Матушка. Вели идти против французов!“ Он хотел обновить жизнь свою борьбою с юным вождем республиканцев, и императрица готовила ополчение на суше и на море, но только готовила не торопясь и, как было сказано, выжидая времени.

Нашим батальонам дан был приказ сперва расположиться в Тверских уездах, а потом идти в Литовские губернии. Это был первый мой поход или, лучше сказать, моя первая военная прогулка. Везде раздавались песни солдат; офицеры гарцовали на конях и бились об заклад, кто кого обгонит. Веселый миг настоящего отдалял от нас будущее. На привалах и ночлегах мы пировали под открытым небом, играли в карты, шутили, смеялись. Хотя я вполне втянулся в вихрь жизни военной, однакоже иногда, как будто бы украдкою от самого себя, читал, кропал стихи, прозу, но вовсе не помышлял о названии писателя; чернильный мой скарб бросал в огонь...

С. Глинка.

РУССКИЙ СОЛДАТ В ПОХОДЕ.

Сей поход (в Крым—*сост.*) был для меня совсем новое зрелище; каждый шаг мною делаемый вперед, доставлял мне новые предметы к удивлению. Дороги, так сказать, были усеяны конными и пехотными полками, множеством артиллерии и повозками, наполненными воинскими и съестными припасами. Неутомимость Российского солдата являлась во всем ее блеске, который с началом дня уже на ногах, и изготовив все к походу, является во всей опрятности в строй; окончив оный, ежели не в карауле или табуне, то тотчас обращается к реке, где моет свое белье, которое не успеет высохнуть, как слышит голос его зовущий в строй на учение. Ничего нет приятнее, как пришедши в лагерь, видеть посреди степи в одно мгновение ока раздающиеся парусные палаты, потом занимающихся солдат: один промышляет траву для сварения своей пищи, другой воду носит, иной траву косит. Далее видишь, в одном месте сидя разсуждают о сделанном в тот день переходе, рассказывают прошедшие против турок походы, под начальством великого Румянцева производимые; иной весельчак вспомнит свои любовные проказы, случившиеся на зимовом пребывании. Все сие меня чрезмерно занимало и усугубляло лишь мою охоту к воинской службе. В сем же походе заметить я мог, что солдату Российскому нет ничего невозможного: по среди степи пространной и оком неизмеримой, варят свою пищу сырой травой, которая столько же вкусна, как-будто на лучших угожьях приготовлена; хлеб пекут к великому моему удивлению в вырытых ямах и оный я ел, который вкусен и хорош; одним словом, мне кажется, что сии люди рождены победить свет, только бы умели их водить. Мое утешение было слишком велико видеть себя помещенну в числе сих неустрашимых воинов и более ни о чем не помышляя, как заслужить от начальников своих наименование хорошего офицера.

Не долго оставались Крымцы в недоумении о нашем в их землю пришествии, ибо князь Потемкин, соединив все войско в Крым пришедшее при городе Карасу-Базаре, пове-

дел великому множеству в одну кучу стекшимся мурзам, мулам и простому народу, прочесть манифест, которым по воле Екатерины II-й, они присоединяются к России...

После сего расставлены в разных местах приобретенной земли отряды войск, дабы повсюду можно было противустать Туркам, ежели бы они вздумали сделать высадку в сей полуостров, но сего не случилось, ибо Турки, коим наиболее следовало за сие вступить, не будучи приготовлены в войне, а видя Российское ополчение повсюду изготовленное к бою, принужденными нашлись на все согласиться. Таковое бездействие на оном месте войск продолжалось до Ноября месяца, в которое время определено которым полкам оставаться в Крыму и которые отпускаются обратно в пределы России.

Полк С.-Петербургский был в числе сих последних, которому и назначено зимнее пребывание на старой Днепровской линии, в крепости Алексеевской. Позднее время, а к тому пространная степь никем не обитаемая между Крымом и помянутою линиею, делали полку нашему сей поход и трудным и опасным; в сем походе еще более я привязался любовью к русскому солдату, ибо имел довольно случаев удивляться его твердости: ежели начать с его одежды, то нельзя сказать, чтобы она была слишком тепла, бедный плащ защищал его от сильных вьюг и крепкого мороза, но при всей сей невыгоде бодрость его не оставляла. Полку должно было в Шагингирейском окопе получить провиант, но драгуны просили своего полковника, дабы оный был роздан мукою, чтобы не заниматься печением хлеба, и они согласились лучше без хлеба быть, довольствуясь приготовлением так называемой саламаты, нежели употребить несколько дней для печения оного, в которое время стужа умножится; и так мы отправились далее, имея степь вместо квартир, а умножающийся ежедневно снег служил солдату, сотворенному крепче всякого камня, вместо пуховика. Однакож все сие преодолено и мы в половине Января 1784 года вошли в свои квартиры.

Что принадлежит собственно до меня, то сей поход будет мне всегда памятен, ибо я изведal в оном по крайнему моему недостатку великую нужду; я не понимаю, как я не потерял своего бедного экипажа, ибо у других достаточных моих

сотоварищей, пали, имея овес, лошади, а мои питались подснежною травою, но уцелели; видно судьбе рассудилось меня при моей молодости и начальной службе совсем не опечалить, и от того я сохранен. При выходе из Крыма, мой карман не вмещал и пяти рублей и я, не упоминая о прихотях, нужного ничего не имел, в столь жестокий холод не из чего было себе сшить теплой одежды и один плащ, сверх моего холодного кафтана, составлял всю мою защиту и под оным-то я испытал свое крепкое сложение и что я в силах сносить; в таком случае свойственно всем северным народам себя подкреплять горячими напитками, но я при всей сказанной нужде не решился себя к оным приучать и таковым во всю мою жизнь пребыл; слабое виноградное вино составляло навсегда единый мой напиток. Во время же моего в самом Крыму пребывания, нужда моя была столь велика, что я находясь в карауле или табуне, не редко не имел чего есть и потому садился вокруг солдатского котла и с оными едал их кашу. Солдаты воображали, что я к ним от особой привязанности мне делал, и тем меня более любили. Должен я к моему стыду сказать, что сначала краснел сесть между их, по предрассудку в младенчестве вперенному, будто стыдно толикое фамилиарство благородного с человеком, которого высокомерие дворян назвало, не знаю по какому праву, народом черным. После, входя в лета, я уже распознал, что мы все люди рождены равно и что между простыми гораздо больше благородно мыслящих, нежели между теми, которые себя сим титулом величают...

А. Пущевич.

ПОЛКОВЫЕ ПРАВЫ.

Возвратившись в Александров, застал я своего полковника Зыкова одержимым горячкою, который чрез несколько дней после того и умер, к крайнему сожалению всего полка. В начальствование полка вступил премьер-майор Махвилов и доказал, что ничего не может быть выгоднее как прием полка от умершего полковника; не взирая на то, что графом Салтыковым приписана была похвала полку, который он нашел

во всем совершенстве, а г-н Махвилов, задоблив графского правителя канцелярии князя Салагова, такового ж грузина, каков был и сам, пустился опорочивать в полку все и показать к службе многое неспособным, так что начтено до 40 тысяч рублей на покойного и положено все его походное имущество продать на пополнение сего мнимого недостатка. Несчастный Зыков из гроба своего не мог возразить против несправедливости!—Офицеры хотя и говорили, но их голос был неслышен. Сей Махвилов был человек добрый, служивой, хлебосол, но впрочем без малейшего воспитания и полагающий в деньгах все блаженство святое; жена его была также грузинка, умная женщина, но лукавая и великая ханжа. Итак, имение Зыкова, бывшее небедное, состояло в многом серебре, разных других вещах немалой цены, выставлено было в зале и с молотка на бильярде продано без малейшего зазрения совести. Г-н Махвилов многим офицерам, забравшим добро Зыкова, зажал рот, позволив нравившиеся им вещи купить за бесценок. При столь жалостном грабительстве не без смеха было, ибо когда г-жа Махвилова знаменовала себя крестом, сожалея притворно о г-не Зыкове, а муж ее с бесстыдною жадностью, когда доходило до лучших вещей, то вооружался молотком сам и тремя ударами решал покупку на свою сторону, приговаривая при том, что он все сие прочит в приданое своей дочери. При сей продаже чуть моей книги не продали, которую брал у меня г-н Зыков на прочтение; я, увидя поднятый над оною молоток, закричал, что я еще жив и что эта книга мне принадлежит.—И ежели бы на оной не было моего имени, то быть бы ей под молотком..

А. Пишчевич.

СЛУЖБА МАЛЬЧИКОВ В АРМИИ.

Странные были тогда обычаи, в сие, впрочем, столь счастливое для России время; в пятнадцать лет обыкновенно уже оканчивалось воспитание мальчиков. Полагали, что они уже всему выучены и спешили их отдать в службу, чтоб они ранее могли выйти в чины. Многие из родителей с сокрушенным сердцем смотрели на пагубу, которая угрожала нежному

возрасту и неопытности сыновей их, но не властны были не следовать общему примеру, опасаясь обвинения, что они препятствовали счастью и возвышению своих детей.

Была еще другая странность, которую можно даже назвать злоупотреблением: в каждом гвардейском полку сотнями считались сержанты, вахмистры, унтер-офицеры, каптенармусы, капралы; все они были малолетние, живущие дома и ожидающие очереди к производству. Каждому из сих гвардейских нижних чинов соответствовал в армии один из обер-офицерских, и потому при записывании дети получали сии чины, смотря по связям родителей с начальниками, по покровительству, а иногда и по заслугам их...

Ф. Вигель.

ВОЙСКО.

Тепер скажу, в каком виде было тогда войско в России, столь прославившее государство сие военными своими действиями. Императрица Екатерина, как женщина, не могла заниматься устройством во всех частях оногo, да если бы и могла, то, конечно, не отвлеклась бы тем от важнейших занятий, посвященных управлению столь обширного государства, а потому попечение о войске она предоставила своим генералам, генералы имели доверенность к полковникам, а полковники к капитанам.

Все военные люди, видевшие тогда российскую армию, согласятся, что пехота была в лучшем виде, нежели конница. Она одета была по-французски, а обучалась на образец прусский с некоторыми переменами в тактике, достигнутыми путем опыта в войнах против разных народов. Но излишнее щегольство, выправка и стягивание солдат доведены были до крайности. Я застал еще, что голова солдата причесана была в несколько буколь. Красивая гренадерская шапка и мушкетерская шляпа были только для виду, а не для пользы. Они были высоки, но так узки, что едва держались на голове и потому их прикалывали проволочной шпилькой к волосам, завитым в косу. Ружья, для того, чтобы они прямо стояли, когда солдаты держат их на плече, имели прямые ложа, что было

совсем неудобно для стрельбы. Приклады были выдолблены и положено было в оные несколько стекол и звучащих черепков; а сие для того, чтобы при исполнении разных ружейных приемов, чем больше всего тогда занимались, каждый удар производил звук. Сумы, перевязи и португеи были под лаком, безрукавные плащи скатывались весьма фигурно в тонкие трубки и носились на спине сверх сумы. Весь медный прибор был как можно яснее вычищен, а гербы на шапках вызолочены; я не говорю уже об узких для лучшего вида мундирах, исподних платьях и сапогах. Сверх того, каждый полк имел огромный хор музыки, и музыканты были одеты великолепно. Во всем этом заключалось великое злоупотребление. Например, полковник получал от казны весьма малое жалованье и почти все вещи для полка получал из комиссариата готовыми, кроме сукна на мундиры, подкладки и холста на рубашки и прочие потребности и кроме полотна на палатки и летнее платье. Все отпускалось штуками или, как говорится, половинками по положению. Цены на отпускаемые в готовности вещи были весьма низки, и потому принимали их в полки в таком виде, что надлежало одни переделывать, а другие совсем вновь исправлять. Содержание музыки и других украшений стоило полковникам весьма дорого; но они нашли средство не только содержать все сие в наилучшем виде, но и самим жить в современной роскоши и помогать бедным офицерам. И вот как это делалось.

1) Экономия состояла в остатках сукон, полотна и холста употребляемых на одежду солдат. 2) Экономия получалась от несодержания полковых лошадей под обоз и полковую артиллерию, между тем как получались деньги за продовольствие оных. 3) От солдатского провианта, потому что в сие время полки каждый год в мае месяце выходили в лагерь и стояли там до сентября, прочее же время года располагались в деревнях по квартирам, и там довольствовались они от жителей, провиант же оставался в пользу полка. 4) Солдат отпускали в отпуск, а провиант и жалованье их оставались у полковника. 5) Самое позволительное было то, что по несколько лет не выключали умерших и получали на них жалованье, провиант и аммуницию, и наконец, 6) они брали из

полка людей в свою услугу, сколько хотели, обучали разным мастерствам и пользовались их заработками. Вообще, отпускаемые для собственной их пользы на разные работы солдаты должны были часть заработанных ими денег отдавать в полк. Но всего несноснее была бесчеловечная выправка солдат; были такие полковники, которые, отдавая капитану трех рекрут, говорили: „вот тебе три мужика, сделай из них одного солдата“.

Но должно сказать, к удивлению, что полковые и ротные начальники не виноваты в сих злоупотреблениях: от них требовали пышности и великолепия в содержании полков, а денег не давали! Не значит ли сие—поставлять все полки в необходимость покушаться на злоупотребления? Не подобие ли сие тому, как если бы кто поставил человека стеречь большой запас хлеба, не давал однако ему есть, а требовал бы притом, чтоб он был сыт и здоров. Виноват ли он будет, если изобретет средство искусным образом что-нибудь украсть для своего существования? Таково-то российское правительство, военная и гражданская служба. Чиновники, малым жалованьем и лишением всех средств к содержанию себя, приводимы бывают в необходимость делать злоупотребления. Вот что наиболее развращает нравы всех состояний. Все нуждаются, от всех много требуют и, наконец, все поставлены в необходимость обманывать один другого, а чрез то наипаче в нынешнее время и при нынешней строгости сколько несчастных! Это то же, что спартанское воспитание детей—тем не давали есть и заставляли красть, если же поймают—секут немилосердно. Точная правда. Я знаю множество несчастных, но знаю много и таких, которые, обкрадывая государство и притесняя других, сделали себе большее состояние и сверх того награждены и почтены правительством. Какое развращение, какой соблазн!

Но обратимся к армии тогдашнего времени. Пехота разделена была на гренадерские, мушкетерские полки и на батальон егерей. Они различались между собою только мундирами; гренадеры не употребляли уже гранат, а мушкетеры действовали наравне с гренадерами. Каждый мушкетерский полк состоял из двух батальонов и имел сверх того две роты

гренадер. При начале турецкой войны в 1770 году были при полках и егери по 120 человек. Искуснейшие в стрельбе люди выбирались из полка и составляли сей отряд; их потом отделили, составили батальоны, которые впоследствии наполнялись рекрутами, и, наконец, сделались не лучше прочих в знании стрельбы. Регулярная конница состояла из кирасир, карабинер, драгун, гусар и пикенеров. Кирасиры и карабинеры составляли тяжелую конницу, драгуны сверх обыкновенного кавалерийского вооружения имели ружья со штыками. Гусары и пикенеры составляли легкую конницу, последние имели пики. Те же злоупотребления, те же пустые прикрасы существовали в коннице, как и в пехоте, исключая того, что конные полки приносили полковникам больше дохода, нежели пехотные, потому что имели больше лошадей, а вследствие этого начальствование в этих полках и получалось чрез прииски и покровительства.

Сверх того Россия имела тогда нерегулярную постоянную конницу, состоявшую из донских, уральских, гребенских, запорожских и малороссийских казаков, калмыков и башкир...

Артиллерия состояла из пяти полков, каждый из них имел по десяти рот, в роте десять орудий.

Инженерный корпус имел только одну роту минер и другую пионер; впрочем, достаточное количество по тогдашней армии, штаб, обер-офицеров, кондукторов и разных мастеровых людей. Но в обоих сих корпусах гораздо меньше было злоупотреблений, нежели в других войсках, потому что меньше требовалось наружного украшения и пустого блеска.

Гарнизоны артиллерийские и пехотные были размещены по крепостям и составляли особое отделение войска...

Молодые дворяне, имевшие некоторое состояние и воспитание, по большей части записывались в полки гвардии, чином унтер-офицера. Нередко начальник оной давал сей чин только-что родившимся детям и потом отпускал в дом родителей, для обучения наукам. Сии дети, достигнув возраста, приезжали в Петербург и служили в полках гвардии, разделяясь на три степени. Те, которые по недостаточному состоянию своему не в силах были поддерживать блеск двора, служа офицерами в гвардии, выходили в армейские полки из

унтер-офицеров в чине капитана в конницу и в пехоту. Другие дожидались производства в офицеры гвардии и служили в оной до капитана; а из сего звания были они выпускаемы полковниками в армию и получали конные и пехотные полки. Третьи же, не имевшие большой охоты к военной службе, оставались в гвардии капитанами и, наконец, брали отставку с достоинством бригадира, вступали тогда в сем звании в гражданскую службу, а по большей части оставались спокойно в имениях своих, пользуясь преимуществами сего чина...

С. Тучков.

Крестьяне и народные волнения.

ЗВЕРСТВА ПОМЕЩИКОВ.

Еще носилась около сего времени одна странная история не только о бесчеловечий, но и о сущем варварстве одной нашей дворянской фамилии, жившей в здешнем Богородицком уезде Тульск. губ. и делающей пятно всему дворянскому корпусу.

Сей господин отдавал одну девку в Москву учиться плести кружева. Девка скоро переняла и плела очень хорошо, но как возвратилась домой, то отягощена была от господ уже слишком сею пустою и ничего незначащею работою, и принуждена была всякий вечер по две свечи просиживать. Сие подало повод к тому, что она ушла прочь в Москву и опять к мастерице своей; но ее отыскали и посадили в железы и в стуло, и заставили опять плести.

Чрез несколько времени освобождена она была, по просьбе одного попа, который ручался в том, что она не уйдет. Но как девка сия была только 17-ти лет, и опять трудами отягощена слишком, то отважилась она опять уйтить; но, по несчастию, опять отыскана и уже заклепана в кандалы наглухо, а сверх того надета была на ее рогатка, и при всем том принуждена была работать в стуле, кандалах и рогатке, и днем плести кружева, а ночевать в приворотней избе под караулом и ходить туда босая.

Сия строгость сделалась, наконец, ей несносною и довела ее до такого отчаяния, что она возложила сама на себя руки и зарезалась; но как горло не совсем было перерезано, то ста-

рались сохранить ее жизнь, но разрубая топором заклепанную рогатку еще более повредили, так что она целые сутки была без памяти. Со всем тем не умерла она и тогда, но жила целый месяц, и хотя была в опасности, но кандалы с нее сняты не были и она умерла, наконец, в них, ибо рана, начав подживать, завалила ей горло.

Вот какой зверский и постыдный пример жестокосердия человеческого! и на толь даны нам люди и подданные, чтоб поступать с ними так бесчеловечно. И как дело сие было скрыто и концы с концами очень удачно сведены, то и оказались господа без всякого за то наказания.

Мы содрогались услышав историю сию и гнушались таким зверством и семейством сих извергов, так что не желали даже с сим домом иметь и знакомства никогда....

А. Болотов.

ИСТЯЗАНИЯ КРЕПОСТНЫХ.

Был у меня в доме столяр Кузьма Трофимович, человек по ремеслу очень нужный и надобный, но пьяница прегорький. Как ни старался я воздержать его от сей проклятой страсти, но ничто не помогало, но зло сделалось еще пуще. К пьянству присовокупилось еще и воровство. Ибо как пропивать было нечего, то принялся он красть и все относить в кабаки. Уже во многих воровствах был он подозреваем, уже пропил он весь свой инструмент, уже обворовал он всех моих дворовых людей, уже вся родня на него вопияла, а, наконец, дошло до того, что начала с скотного двора пропадать скотина. Не один раз я уже его секал, не один раз сажал в рогатки и в цепь, но ничего тем не успел. Словом, дошло до того, что я не знал, что мне с ним делать; ибо жалел его только для детей его. Один из них был моим камердинером, грамотный, умный и мне усердый малый, и лучшим моим человеком—самый тот, о котором при описании моего последнего путешествия упоминал я под именем Фильки и который всюду ежжал со мною. Другой, по имени Тимофей, служил при моем сыне, был сущий гайдук и малый ловкий и проворный; а третий, по имени Сергей, был в музыке моей пер-

вым флейтраверсистом, но обоих тех меньше и также малый неглупый и ко всему способный. Все сии дети казались с молододу очень хороши; но как оба первые повозмужали, то, к сожалению моему, оказалась и в них такая-ж склонность к питью; а притом еще замечено злобнейшее сердце. И сии-то молодцы подали мне повод к поминутной досаде и беспокойству. Так случилось, что, за несколько перед тем дней, надобно мне было отца их опять унимать от пьянства и добиваться о последней пропаже в доме и до того, откуда берет он деньги на пропой? Посекли его немного, посадил я его в цепь, в намерении дать ему посидеть в ней несколько дней и потом повторять сечение понемногу несколько раз, дабы было оно ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно; ибо я никогда не любил драться слишком много, а по нраву своему, охотно бы хотел никогда и руки ни на кого не поднимать, еслиб то было возможно; и потому, если кого и секал, будучи приневолен к тому самою необходимостью, то секал очень умеренно и отнюдь не тираническим образом, как другие. Большой сын его был сам при первом сечении и казался еще одобрявшим оное и бранящим за пьянство отца своего. Может быть, думал он, что тем тогда и кончится. Но как чрез несколько дней привели его опять ко мне по случаю, и мне вздумалось еще его постращать.—как вдруг оба сынка его скинули с себя маску и, сделавшись сущими извергами, не только стали оказывать мне грубости, но даже дошли до такого безумия, что один кричал, что он схватит нож и у меня пропорит брюхо, а там и себя по горлу; а другой, и действительно, схватя нож, хотел будто бы зарезаться. По всему видимому, так поступать научены они были от своего родимого батюшки, ибо самим им так вдруг озлобиться было не-за-что и не натурально. Но как бы то ни было, но меня поразило сие чрезвычайно. Я вытолкал их вон и имел столько духа, что преоборол себя в гневе и стал думать о сем с хладнокровием. Тогда, чем более стали мы о сем думать, тем опаснее становится сие дело: вышло наружу, что они во все те дни, как змеи, на всех шипели и ругали всех, и даже самого меня всеми образами. Словом, они оказались сущими злодеями, бунтовщиками и извергами, и даже

так, что вся дворня ужаснулась. Они думали, что дело тем и кончилось, и что они меня тем устрашили и напугали; однако, я и сам умел надеть на себя маску. Они, повоевав и побуянив, разошлись: один пошел спать на полати, а другой отправился в горед попьанствовать, ибо думал, что он уже свободен сделался и мог, что хотел предпринимать и делать. Я же, между тем, посоветовав кое-с-кем и подумав, как с злодеями сими поступить лучше, велел их перед вечером схватить невзначай и сковав посадить их в канцелярии на цепь. Мы опасались, чтоб они в самое сие время не сделали бунта и мятежа и чтоб не перерезали кого. Однако, мне удалось усыпить их мнимым своим хладнокровием и спокойным видом, и оба храбреца увидели себя, против всякого их чаяния и ожидания, в цепях и под строгим караулом в канцелярии.

Со всем тем, происшествие сие навело на нас много беспокойства. Видел я, что мне обоих сих молодцов держать при себе было впредь уже не можно, а и сделать с ними что—я не ведал. Видел я, что оба они навсегда останутся мне злодеями, но чем тому пособить не предусматривал. В рекруты их отдать не только было жаль, но для них было бы сие и наказание очень малое, а надобно было их пронять и переломить их крутой, злодейский нрав; а хотелось и сбегать их, буде можно. Итак подумавши—погадавши, расположился я принимать их не битием и не сечением, которое могло бы увеличить только их против меня злобу, а говоря по пословице, не мытьем, так катаньем и держать их до тех пор в цепях, на хлебе и воде, покуда они поутихнув вспokoются и сами просить будут помилования; а сие кроткое средство и произвело то в скором времени. Они не просидели еще недели, как цепи, по непревычке, так не вкусны им показались, что они успокоявшись послали ко мне обоих моих секретарей, тазавших их в канцелярии ежедневно, с уничиженнейшею просьбою о помиловании их и с предъявлением клятвенного обещания своего впредь таких глупостей не делать, а вести себя добропорядочно. А я того только и дожидался, и потому охотно отпустил им их вину и освободил из неволи.

Они и сдержали действительно свое обещание, и впоследствии времени обоими ими были мы довольны, хотя судьба не дозволила нам долго ими и усердием их к нам пользоваться; ибо года два после того старший из них, занемогший горячкою, умер, и мне не только тогда было его очень жаль, но и поныне об нем сожалею; а и второй, прослужив несколько лет при моем сыне и будучи уже женат, также от горячки кончил свою жизнь. Что-ж касается до негодяя отца их, то оный многие еще годы после того продолжал мучить и беспокоить нас своим пьянством и беспорядками, покуда наконец после долговременного моего отсутствия, заворовавшись однажды, и боясь, чтоб ему не было за то какого истязания, не допуская себя до того, лишил чрез удушение сам себя поносной и развратной своей жизни....

А. Болотов.

СОВРЕМЕННОЕ ПИСЬМО О САЛТЫЧИХЕ.

Милостивый государь мой,

На нынешней почте по реестру писем от вас, государь, не было, о чем я и умалчиваю, а донесу только вам, что у нас в прошедшую субботу делалось, то-есть, 17-го числа. Сделан был на Красной площади ашефот, возвышенный многими ступенями, посреди коего поставлен был столб, а в столб вбиты три цепи; и того дня сделана публикация, а по знатым домам повестка, что 18-го сего Октября будет представлено позорище, кое 18-го числа, часу в 12-м, в начале, и началось следующим порядком. Прежде шла гусар команда, потом везена была на роспусках Дарья Николаева дочь Салтыкова, во вдовстве, людей мучительница, по сторонам которой сидели с обнаженными шпагами гронадеры. И как привезена была к ашефоту, то сняв с роспусков, взвели и привязали цепями ее к столбу, где стояла она около часу; потом, посадя паки на роспуски, отвезли в Ивановский девичий монастырь, в сделанную для ней, глубиною в земли аршина слишком в три, покаянную, коя вся в земле, и ни откуда света нет. Она в железах, и никого к ней, кроме

одной монахини и караульного, допускать не велено; да и им тогда только ходить к ней, когда есть принести должно будет, и то при свече; а как отъест, то опять огонь погасить и во тьме оставить; а когда будет церковное пение, то допускать ее к церковному окну, к коему по обыкновенным у ходов ступеням всходить должна; и быть ей велено до смерти. А во время ее у столба привязи надет был на шее лист с напечатанными большими литерами: *Мучительница и душесубица*. А как ее повезли, то после ее биты кнутом и клеймены люди ее и поп—за то, для чего он мученных ею хоронил, а людей—дворецкого, который в особой милости был, и кучера, что убитых валил, и других,—чем и кончилось сие позорище. Чтож принадлежит до народа, то не можно поверить, сколько было оно: почти ни одного места не осталось на всех лавочках, на площади, крышах, где бы людей не было, а карет и других возков,—несказанное множество, так что многих передавили, и карет переломали довольно. Пищу же ей велено давать обыкновенную монашескую, и лишена имени, дворянства и отцовской и мужеской фамилий. Вот вам, государь, наши вести. Еще донесу вам: у нас уже зима со 18-го числа началась, а 19-го и ездить на санках стали. И я вчерась через Москву реку переезжал. И напоследок остаюсь с должным моим к вам, государь, почтанием. 21 Октября (1768), Село Покровское¹⁾.

(Из сборника, ходившего по рукам).

ОДНОДВОРЦЫ.

Я, положив книгу, стал говорить с хозяином и обозреть все его житье-бытье и пожитки. Бедное самое оно было хотя и принадлежал он к числу тех поселян, которых одних можно почестъ в нашем отечестве вольными! Бедняки сии

¹⁾ Салтычиха—это наследие Елизаветинского царствования той эпохи, которую Екатерина характеризовала выражением: *боярское правление*. Многочисленные жалобы на зверство Салтычихи, связанной родством с знатнейшими лицами, не достигали престола; но только что Екатерина прибыла в Москву на коронацию свою, как наряжен был суд над Салтычихою; а за тем последовало и решение..

называли себя дворянами, хотя в самом деле были они только однодворцы и никогда не принадлежали к числу дворянского корпуса. Он сказал мне, что прежде сего была тут целая деревня, состоящая более нежели из 20 дворов, и что вся она, за несколько уже лет, сошла в другое место, что их тут только три дворика осталось. Впрочем, показался он мне мужиком изрядным и не походил на вора и разбойника. Велика ли его семья—я не спрашивал, а видел только множество детей обоего пола и разного возраста. Все они, особливо девочки, были сколько-нибудь лучше крестьянских. Платьецо и юпчонки было на них изрядное и не похожее на крестьянское, а такое, какое носят в дворянских домах дворовых людей дети; а такое же имели и взрослые женщины. Что касается до мужчин, то они ни чем не отличались от крестьян. Были у них такие же бороды, такое же платье и такая же обувь; почему и лучшая их пажить, которую я видел тут развешанную по шестам, состояла только из нескольких шуб, кафтанов, юпок, телогреёк и тому подобном. Во всем видна была простота и весьма небогатое состояние; а тому же и ответствовало и все строение двора. Не было в нём ничего особенного и могущего свидетельствовать о его преимуществе перед крестьянами, или чтоб было внимания достойное, не смотря хотя и мог он в свое время употреблять на себя и предпринимать все, что ему угодно; ибо не отправлял он ни боярщины, ни подвод и не платил ничего и никому, кроме одних обыкновенных податей государю....

А. Болотов.

ГОД КРЕСТЬЯНИНА.

Не знал я причины тому, что народ того небольшого селения ¹⁾ тогда отличался от всех на большое пространство окружающих соседей своих других селений своею веселостию. Шатаясь по разным местам России и сопредельных государств, не случилось мне видеть, где бы подобные им поселяне так искусно и охотно выделяли между трудов и не-

¹⁾ В Орловской губернии (составители).

обходимого покоя особые часы для увеселений, не довольствуясь тем, что и в трудах во всякое удобное время не пропустят они минуты употребить в свое увеселение и что одни только немногие часы, закрыв глаза, силы их подкрепляющие, предав их неисповедимому состоянию души и тела, разлучают их со врожденною их любимую склонностью, сопровождать все веселостию. Если взять началом года первое октября, время рабочее, в которое у них производятся затопки конопляных стеблей для вымачивания, чтобы взять с них пенку, которая тогда по доброте своей отправлялась чрез разные места в Англию, и молотьба разного хлеба, которую они всегда старались сократить к зиме, когда необходимо расчищать на токах снег, иногда выше человеческого роста навейного; в то время они, вставши за несколько часов до света, обмолачивают каждый по овину, а семьянистые по два. Весь день мужчины и женщины в беспрерывной работе до самого сумерка, но не смотря на то, оконча все и помолясь Богу на месте окончания трудов, они не преминут хотя на короткое время собраться на улице в нескольких местах и нередко и в одном, и хотя не поют уже песен, но за то там у них другие занятия: резвести малолетних, рассказы стариков, неприметный отчет в дневных трудах взрослых и тому подобное, заменяя всегдашнее их для веселостей определенное время замещает промежуток прервавшего единственно по краткости свободного времени всегдашнего их игрища. После сего каждое семейство, собравшись в избы и засветя огонь, паки работает: кои прядут, кои починивают мешки или веретья, кто поправляет хомуты, приготавливаясь по первому зимнему пути пуститься на нескольких лошадях в извоз, в котором работают до прекращения санного пути, после которого они нанимаются в работу на водоходных судах, кто делает цепи, грабли или заостривают вилы, иные плетут лапти, а все вообще поют какую-нибудь старинную или из современных какую-либо военную, или молодецкую песню, и оконча ту, начинают другую, кем-либо из старших семейства предложенную. Песни у них рассортированы на военные, молодецкие, уличные, хороводные, свадебные, разные величальные: для стариков и старушек, для

заслуженных, для женатых и замужних, для девиц, для холостых и для вдовых мужчин и женщин с обозначением во всех каждого величаемого лица состояния, даже и попов величать есть у них особые песни, а также и относящиеся к монахиням; особые также на разные случаи: свиданий, расставаний, отправляющихся на войну, о разной участи, постигшей их там,—сии особенно с претрогательными голосами возвращающихся с войны, радостные, печальные и даже плачевные. И во всех тех песнях голоса так искусно принаровлены к воспеваемым в них предметам и обстоятельствам оных, что не меньше самых слов делают выражение. Имея в памяти по множеству на всякий предмет или случай однородных песен, они искусно выбирают такие, которые почти совершенно объясняют свойства и обстоятельства воспеваемого предмета или лица, даже и образ жизни одного прошедшего и настоящего времени—особенно в отсутствии тех лиц, ибо в присутствии они поют такие, в которых меньше выражается образ жития величаемого, дабы не оскорбить одного вместо величания ни полусловом, которое могло бы напомнить какой неприятный, хотя ему одному известный поступок или случай, ни излишнею лестью. Сговорных и свадебных песен у них так много, что они певши беспрестанно при всех многоразличных свадебных обрядах приличные каждому песни, за бесчестье себе считают: спеть на одной свадьбе два раза одну песню. А как по тамошнему (а может быть и по повсеместному) обычаю невесты как-будто должны при некоторых обрядах плакать, то они в предшествии таковых обрядов поют такие песни, коих слова и голоса незольно приводят в слезы не одну невесту, которая и без того оплакивает разлуку с родителями и будущую еще неизвестную свою участь; но даже всех посторонних, тут находящихся, сколь-бы ни был кто одарен дубовыми чувствами, ибо и из самих певиц, при всей привычке к голосам и словам тех трогательных песен, многие продолжают пение, как говорится, сквозь слезы. Так они проводят вечера за работою, как-будто затверживая множество песен, от старых к молодым передаваемых, часу до девятого, которое время, равно как и все прочие времена ночи, знают они по

звездам, а в пасмурное время, не знаю уже почему знают, и так верно, что иногда посрамляют не весьма исправные хронологические машины. Для сна они употребляют не более четырех часов; во время молотбы до первого, а когда оной нет—от первого до четырех, в первом случае они в петухи встают молотить, а во втором продолжают вечернюю работу до петухов. В воскресенье или другой какой праздник они послеобеднее и вечернего сиденья времени почти все проводят на улице: поют, играют, не смотря ни на стужу, ни на метель и даже самую вьюгу, которые иногда пронимают до того, что они, припрыгивая в голос и такт продолжаемой песни, поют: что у них озябло, но все до времени не оставляя места своего веселья. За всем тем не просыпают долее четырех часов, но встают и при огне работают, также как с вечера; только уже в эти послеполуночные времена, равно и накануне какого-либо праздника, песни не поют, а слушают посильные рассказы одного из семейства, слышавшего от попа или кого другого: правила христианской веры, житие Иосифа прекрасного или другого из описанных в Четъминее, из которой достигшие зрелых лет довольно многие статьи хотя вкоротке помнят, так же как, и песни, не смотря на то, что они слушают из тех книг одно только в году небольшое время, когда говеют. После тех рассказывающие неприметно вводят или рассказ о ком-либо благочестиво и трудолюбиво проводившем или еще провожавшем жизнь человеку, о котором он слышал или сам знает и в которой примеры достойны подражания слушающих, а из того выводят посильную похвалу трезвой и девственной жизни и оуждение противоположной козней, коих разнообразие и ужас рассказывающий сообщал к сведению семейн своих, дабы при несчастной встрече оных охранялись нужными предосторожностями. Вот только времена в которые умолкают песни, в прочие же времена, иногда неся тяжелее себя бремя, хотя не звучно и не регулярно, но все что-нибудь напевают.

Таким образом, дожив до зимней дороги, они отправляли в извозы лишних по тогдашнему времени людей и лошадей, оставляя тех и других столько, сколько необходимо нужно для домашнего вместе с женщинами обихода и от-

правления работ общественных и тех, кои производятся по распоряжению земской полиции, в которых они не мало времени не замедляли, не смотря на то, что они тогда уже были многих разных владельцев, всякое общественное дело исполняли с лучшей скоростью и точностью, нежели другие одного владельца. В каждом владении, хотя бы оное состояло только из одного семейства, были старосты, которые сошедшись на улице в то время, когда прочие веселятся, соглашались исполнять которым-либо из них предложенное: расчищать проруби, или исправить свои сельские дороги, назначали время, в которое как машиною, назначенные на ту работу все в одно время выдвигались из домов и, пришед на место работы, скидают, сколь бы холодно ни было, всю одежду и работают в одних рубашках припеваючи приличную трудам своим песенку, в числе коих в одной молодецкого напева есть слова: *работай ребятушки, не работайте, своих блаток ружьем не жалейте*. Хотя эта песня есть изображение некоторого водяного военного и храброго движения, однако-же, они поют ее иногда между прочими в своих работах. Если в общей работе заметят кого недружно работающего, то шутя разувает его и заставляют работать на снегу босиком, а в другие времена иными подобными сему, незвидимому, шутящими способами ленивых наказывают, как-то: насыпают им вместо прохладительного пыли или земли в исподнее платье и тому подобные употребляют средства, дабы и другие в работе, как они говорят, *не выдавали*. Возврат с работы никогда не бывает без песен, исключая тех, кои бывают поздно накануне праздников.

Таким же образом доживали они до святок, во время которых у них производятся: все те святочные игры, какие в старину бывали у больших и малых бояр. Каждый вечер собирались в просторнейшую из всех избу, а иногда заблаговременно испрашивали у кого-либо из непроживающих в селении помещиков позволения производить святочные игры в порожнем их доме, и начинали игры всегда гадательным действием. Они, снявши серги, перстни и кольца в большое блюдо, налитое водою, и поруча одной вынимать оттуда иные по одной вещи, поют аллегорические, хотя все на один напев, но разные воротенькие песни на

каждую выемку особую, припевая за каждую: *кому вынется, тому сбудется, тому сбудется, не минется*. Потом предложение и отгадывание загадок, коих они знали очень много и между коими есть такие, кои в простоте своей заключают замысловатость и означают не меньше других басен. Жгут у них употребляется многоразличными манерами, а всего забавнее игра в короли, которая у них заменяет все различные манеры игры в фанты. В этой игре нередко бывает смесь: игры со слезами, когда юная девица, перед королем назвавшись его слугой с обещанием: *что ни заставишь, то буду делать*, и получивши приказание поцеловать кого-либо из молодых мужчин, от стыдливости затрудняясь исполнить назначенное ей дело, усердно просит переменить, не смотря на то, что такая перемена иногда ставит ее еще в большее затруднение и она со слезами приступает к исполнению; напротив того, бывает приятная картина, когда удается ей склонить жалость на состояние чувств своих и выпросить позволение исполнить назначенное ей дело, т.-е. поцеловать вместо мужчины которую-либо из ее приятельниц, как она с необтертыми слезами, как стрела бросается, с радости обхватывает и, сильно прижав, поспешает вместо назначенного одного поцеловать несколько раз, как призывают ее к отчету в излишних против назначения поцелуях, кои она в пылу радости без счета отпустила, как она, оправдываясь, иногда приближается паки к слезам, с какими испрашивала себе желанного.

Во время масляной все на горе, которая против нашего дома от природы так устроена, что устроенные в городах с большими издержками искусственные горы не имеют таких удобностей, какие эта. На этих катаются по одним санкам, а на сей поставляют десяток или более в ряд и, путившись с места все вдруг, катятся около ста или более сажень, и те, у коих катчье санки и кои лучше ими правят, выпереживают друг друга—как в скачках верхом или на бегах. Никто не сходит с горы кроме тех, коим старшие семьяне приказывают что-нибудь сделать в доме, но и те, бегом с горы и сделав приказанное, обратно прибегают и паки вступают в общее упражнение. В это время можно слышать

вдруг многие песни потому, что катающиеся, разделяясь на несколько катов по стольку санок, сколько может поместиться по ширине расчищенного и политого для катанья места и в один раз рядом скатиться, каждый таковой отряд запекает особую песню. И так катящиеся отряд за отрядом с горы поют и возвращающиеся тем же порядком на гору также поют, то все пространство катального места усеяно в два ряда движущимися группами, поющими каждая свою песню, стараясь не запеть ту, которую уже поют или пела в этот вечер которая-либо из катающихся партий. Сие строго наблюдают стоящие на горе у начала катального места старики, а старики смотрят затем, чтобы партия не смела катиться впереди той, позади которой она катилась. Наблюдая таким образом порядок, на основании ведущегося у них издревле правила, нарушивших оное штрафуют, указывая на другую гору, чтобы он туда шел кататься, если хочет лишний против других раз скатиться. А более наказываются они тем, что девки и молодые женщины, узнав о сделанном стариками ему выговоре, ни одна не садится на его санки и те, кои пред тем с ним катались, искусно отказываются, выставляя какую-нибудь причину, заставляющую ее прекратить катанье, и, постояв несколько, катаются с другими. Подобные сему штрафы падают на всех нарушителей порядка, в каком бы то случае ни было, кто, не в лад запев, помешает поющим, кто третий к двум вмешался плясать, кто не умеючи играть пристаёт с балалайкою или гудком к играющим, помешает им особенно, когда уже пляшут. Невежливость против стариков и вообще против женского пола наказывается у них запрещением невеже приближаться к хоровам. Но обидные на чей-либо счет слова уже превышают сию меру штрафов и подходят под разбирательство—род полицейского.

С первого понедельника Великого поста на всех местах игрища и песни на весь пост умолкают. Очень редко случается, что какой-нибудь мальчишка, работая где нибудь наедине, как кот замурлычит сквозь зубы про себя какую-нибудь песенку и то оглядываясь, чтобы кто-нибудь не подслушал его преступления. При таком строгом соблюдении

приличествующих посту правил не было у них лицемерства, подобного раскольничьему, кои в посты или праздники вместо нарядных песен поют что-нибудь на голоса церковные, как один из раскольников пел на... глас: *Волною морскою, подем-ка, Анастасия, тройкою ямскою, ау, ау, яко прославимся.* Девки же сей деревни от масляного заговенья до Фоминой недели считают за грех смехом обнаружить зубы и все без изъятия говеют на первой неделе, а в субботу оной причащаются, во всех своих лучших нарядах, — расчесав назад по спине волосы, которые, быв пред тем в косе заплетены и от того сделавшись в расческе волнистыми, будучи на голове перевязаны золотою повязкою или лентою, составляли лучшее всех нарядов украшение девиц, с благоговением к Страшной Тайне приступающих. Такое смиренное прохождение поста не производит в них жаленья о веселостях прошедших, ни сильного желания скорей дождать будущих, потому что они в беспрестанной работе: прядут, ткут, сучат нитки, белят их, мнут лен и пеньку и т. п., вышивают к Святой какую-нибудь обнову. Но тягостное для женского пола: Святой недели часть до принесения образов, кои иногда приносят к ним в пятницу или уже в субботу, потому тягостное, что им в это время и пока у всех отмолебствуют и унесут образа из деревни, ни работать, ни петь не позволяется, тогда как они видят, как-будто поддразнивающих их, мужчин, с самого первого дня катающих красными яицами или в других таких беспесенных играх, резвое беганье или проворные повороты, или прыганье заключающих. В это время у них все уличные забавы заменяют одно только то, что они, приступая к старикам, просят из них тех, кои более и далее шатались по пространству земли, лучше помнят и хорошо рассказывают то все, что видели и слышали или с самими или с известными им случалось, просят рассказать что-нибудь. В этом случае и мужской пол, брося свои ладышки, палки, шипы, мячи и прочие игр их орудия—все предоставляя одним маленьким ребятишкам, присоединяются к старикам и женскому полу и все со вниманием слушивали они повести Антипа, когда он рассказывал им что-либо из полуторастолетней своей жизни: как он на двадцать пятом

году бежал из дому, когда хотели его женить на девице, ему не нравившейся; как и где захватили его разбойники в свою шайку, как они его принудили выпить вина, которого он до того не пил, и увидя, что оно ему вредно, после уже не принуждали его к тому и он во все сто пятьдесят лет один только раз выпил вина и то по принуждению, а по своей воле пил только воду и квас; когда и как разбойники затащили его с собою грабить одну богатую нашу родственницу и он, видя жизнь ее в опасности, вызвался отнести ее бросить, задавивши, в реку, но вместо того, отнес ее в другую ее же деревушку и, сделав там тревогу, сам бежал от разбойников в Москву; что он там до шестидесяти лет делал и проч. Много кое-что рассказывал о волнениях стрельцов, при чем не пропускал промолвить слушателям: царя надо слушать, он земной Бог, вот стрельцы взбесились-было, зато сами себя половину перезали, добро бы на войне так резали врагов, а то свою братию—это Бог на них прогневался за Царя и они взбесились, вон как у нас бесятся собаки, так собаку-то мы повернемся да убьем, а те были своя братия и бить-то их жаль, а слов-то не слушали и то забыли они в бешенстве, то, что без царя опять бы пришли мучить нас: басурманы, татары или Литва поганая. В продолжении рассказывал, как он попался в Москве к какому-то князю, который хотел его сделать по большому росту и силы скороходом и увидя, что тяжел, сделал гайдуком, каким образом он из гайдуков скрылся и, возвратясь в дом шестидесяти с чем-то лет, женился на девице, которую прадед мой за спасение родственницы предложил ему выбрать по его желанию в своей или чужой деревне, как он, уже женатый, снова попался в Москву во время моровой язвы и употреблен был таскать крюком умерщвленных оною, у коих видел жемчуг и прочие драгоценности, но не смел брать, чтобы не пристала язва и чтобы не привязались надсмотрщики, которые все то собирали и клали в уксус, а потому он, кроме намоченной уксусом деревянной ручки железного своего крюка, которым он таскал умерших, ничего в руки взять не осмеливался. Сей старик, иногда будучи призван, и нам рассказывал подробности всего в те времена в Москве происхо-

дившего, но как мы тогда почитали нужным только знать одно книжное, то его повести слушали без всякого внимания, а потому из них почти ничего в памяти моей не осталось.

Выпроводивши образа за околицу, отправляют общий или по их околичный молебен и после того молятся вслед понесенным от них образам, но только скроются оные за лесом, почти при самой той околице находящемся, они немедленно приступают к началу игр их, которые и открывают большим танком, почти на том же месте, где молились. Набрав из ребятишек восемь, рассаживают их на земле так, чтобы, обведши около них цепь, взявши рука за руку мужчин, женщин и пр. выходила фигура круглоконечного креста; потом, составя такую цепь, начинают особую для сего из танковых песню и искуснейшая, будучи на правом крыле, ведя за собою всю цепь, обводит оную по предположению и сомкнув оную с находящимися на другом конце цепи, с песнею ходят один за другим по обведенной черте в ту сторону, в которую при обводке двинулись, или по данному знаку в другую.

Танок сей представляет скромную и из всех их игр красивейшую картину—особенно, если смотреть с какой-нибудь возвышенности, с которой все изгибистое оно движение в разноцветных нарядах мужчин и женщин вдруг видеть можно; при том общественный в нем всякий участвовать может, даже дряхлый, слепой, не сделав помехи общему, потому что предыдущий и последующий, держа за руки, не допустят до того, равно и бесголосый и немой, потому что молча могут ходить между поющими: кроме всего того и самой фигурой танок сей заключает что-то аллегорическое. Кажется, что сочинитель песни и фигуры оно имел целью то, чтобы ежегодно при начале весны напомнить каждому: чему в течение оной или даже всей жизни следовать и что обходить также, как и в танке обходят ребятишек, ибо в песне все места, на которых посажены ребятишки, даны названья: которые местами непроходимыми, которые плодоносными, а иные удовольственными: вот цветы алые, тут же и лазоревы, вот поле 2... цветет колосистое, вот луга 2 с муровой зеленью, вот гора 2 крутая, высокая,

вот и дубровушка, густа, непроходная, озеро 2, озеро широкое, болото топкое, травливое, вот и дороженька бойна, путь широкая и тому подобные слова, означающие предметы, кои человек должен оберегать или сам их остерегаться. После сего они возвращаются в деревню и, остановясь на сборном своем месте, начинают некоторые из всегдашних их весенних игр, а если время позволит—и все.

С Фоминой недели начинаются у них и работы, и игрища, каждый день, начавши до восхождения солнца, мужчины пашут, боронят, делают телеги, колеса, городят, строят мосты, поправляют дороги и т. п., а женщины снуют и ткнут, чего не успели сделать до Святой, шьют белье, белят холсты, девки же, сверх того: строчат, вышивают крашеною бумагою, шелком и золотом полотенца, платки, рукава, воротники и подолы мужских и женских рубашек и прочих нарядов, чем что прилично. Из разноцветного бисера разной крупности и фигуры снизывают для ношения на шее, шириною в вершок или уже цепочки, на коих после видны двоякие узоры: прозрачностью и разноцветностию представляемые решеточки, репейки, треугольнички, четырехугольнички и многоугольнички малые и большие, и в них другие какие что-либо представляющие фигурки. Песни неразлучны с ними ни в какой работе, — вышивающей или нижущей, если надобно скусить нитку или шелковинку для вкладывания в иглу или бисерину (бисер они низали не на иглу, но прямо на нитку, скусив и засучив конец оной на подобие иглы), то хоть сквозь зубы пропойт следующее. Из стригунка таким же образом снизывают себе белые, так называемые, поднизки, которые подвешивают под налобной золотой с разноцветными камнями наряд. Продолжая, таким образом, в веселье работу до заката солнца, тогда они на местах трудов, помолясь Богу, оставляют оные; но после ужина собравшись в игрищах, веселятся иногда до полуночи, или, как они означают время: до петухов, но не так шумно и весело, как бывает у них по возвращении в дома, работавших на водоходных судах холостой и женатой молодежи; с прибытия их бывает в праздничные дни у них столько различных игр, что от обеда до ужина переиграют оных только малую часть, и посторон-

ний, если имеет время пожить и пересмотреть все, едва ли может все виденное вспомнить. Игры под разными названиями лапты, а еще больше названий и манеров играниям: шаром, клетками на подобие игры кегельной, только в сей вместо шаров действуют палками и не на помосте, а просто на земле; различных манеров и названий игры, сопряженные с прыжками, проворными оборотами и беганьем. Все сие доставляет вообще им, кроме удовольствия, проворство, ловкость, свежесть и веселый вид, а мужчинам как-будто и придает силы, с каковою из них: кто поднимает пудов двенадцать одною рукою, кто ушат с четырьмя или пятью ведрами воды, взяв за перевязло зубами, ни мало руками не касаясь, вносит и ставит на печь, кто, легши лицом к земле и поставя себе на шею большой ухват, поднимает повисших на ручке одного двух мужчин и становится под сею тяжестью, как можно идти с нею, кто сороковую бочку, наполненную жидкостью, один ставит на которое-нибудь дно и тому подобные действия, превышающие обыкновенные силы человеческие. Да и вообще всякий может носить на себе такую тяжесть, которая гораздо тяжелее самого его. Кроме всех тех общих и особенных игр, ведется обычай: в определенные ими весенних праздников дни ходить в рощу, когда венки завивать, когда развивать, когда кукушек крестить. Первые два обыкновения во многих или почти во всех местах ведутся, но о последнем нигде мне не случилось и слышать, да и там, как этот странный обряд производится, я порядочного объяснения не слышал, ибо при расспросе нянька сказала мне только, что они разделяясь по две девицы, находят, сыскивают каждая пара себе травку, называемую ими кукушкою, и над ними кумятся, после чего уже не называют покумившуюся по имени, не сказав прежде кума: кума Матрена, кума Феня и т. п. При том действии не бывает с ними ни самых маленьких мужского пола, осмелившийся же кто из взрослых полюбопытствовать, посмотреть на них в том действии разрушает все, хотя бы это случилось при самом начале, они бросают все и столько бывают огорчены, что, возвращаясь из рощи, и песен не поют—напротив того, как

они по совершении того без помехи, возвращаются оттуда со всем возможным весельем.

Таким порядком в веселостях провождается у них всякий не рабочий, после обеда, день, а в рабочий вечер до Петрова дня, к которому они ставят размашистые качели, забаву самую старинную. Вкапывают аршина по два в землю шесть толстых слег, иногда более пяти сажень вышиною, вершины их связывают по три вместе, кладут на обе связки переклад, на который надевают два новых обода, кои они имеют для набивки на колеса, распетливают те обода веревками, чтобы оные на перекладе не сдвигались и не раздвигались, привязывают к сим ободьям оба конца одного каната, кладут на оный доску вершка в четыре или пять шириною, а длины такой, на которой может сесть один взрослый человек; по сем уже качели готовы в таком свойстве, в каком везде делают для маленьких, только в несколько раз в большем размере. Севшего на положенную, на висящем от ободьев вниз дугою канате, дощечку, качают в две веревки четыре человека, а чтобы выше залетал качающийся, то в три веревки шесть человек. Сия их забава постороннего приводит в ужас. Как человек, ничем ни к канату, ни к доске не привязанный, держась только руками за канат, может усидеть, когда его, прилетевшаго с высоты к начальным веревкам, кинут его оными изо всей, шести человек, силы обратно на высоту, столь быстро, что полет его сильный производит гул, подобный чему-то в воздухе стонающему, а у женщин, если они, садясь на качели, не прикрепят висящих концов лент своих, то оные все на нескольких полетах перервутся. Сколько забава сия заключает в себе молодецкой отважности, столько для постороннего ужаса, особенно тогда, когда качающийся, взлетев вверх сажени на четыре выше качающихся, кажется висящим над рекою, сажень пятнадцать ниже качели протекающею, ибо качели сии иногда ставят на выдавшемся из горы параллельно реки протянувшемся бугре, который, имея на верху ровную площадку величиною, только собиравшийся под качели народ вмещающую, упирается в реку утесом, близь которого стоят качели и качающийся на длинном канате, пролетев черту утеса, кажется над рекою вверх

летающим при обратном полете, как-будто силующимся канатом своим свалить качели, и утащив их с собою, слететь на глубину реки. Но для удалых сей ужас ничего не значит. Из некоторых молодцы: севши на качели и перевязавши перед собою у пояса с одной стороны каната на другой кушаком, на самых быстрейших полетах делают по несколько пере-прокидок как колесо на оси, в коих ноги, гонясь за головою точно представляют большое сходство с оборачивающимся на оси колесом. Жаль, что я не умею объяснить здесь той картины, которую и теперь как-будто вижу со всеми теми чувствованиями, какие имел, глядя на отважность удалых и трезвых весельчаков

На третий или четвертый день Петрова дня, начинаются у них сенокосные работы и сим все ежедневные их уличные игрища прекращались, а бывали только по праздникам. Эти трудные и для глаз приятные работы, с весельем, как и прочие производимые, выманивали иногда и нас из города. С полуночи иногда начинают мужики косить и до обеда у них не слышно ничего, кроме шума кос, который оные подрезывая траву, подобно веслам на шлюпке, производят и звуки, когда косы точат; но после обеда у них уже слышны особые сенокосные песни, в такт косных резов подпеваемые. До обеда в те дни, когда сено поспеет ворочать женщины и девицы приходят на сенокос во всегдашней одежде и ворочают оное без песен, но на обратном пути не забудут построить голоса к послеобеденному времени, песенками двумя или сколько успеют пропеть до прихода в дома. После обеда женский пол выходит сгребать сено в среднем наряде и именно в таком, в каком они по воскресеньям и небольшим праздникам ходят в церковь. В то время с прекрасной картины людьми и сеном испещренного луга слышны сенокосные песни, под которые они почти все в такт граблями подкидывая сено в валы, которые, подвигая в предположенную сторону, колеблют подобно валам на больших водяных пространствах и почти с подобною же оным быстротою катят те валы, пока нагребают в них сена достаточно для составления копен—и тогда, мгновенно в нескольких местах прервав вал, составляют оные. Свозка и кладка сена

в ометы, равно и путь с сенокоса в дома, не остается без песен—труды и досужливость прославляемых (досужим и досужею называют они деятельных, успешных и искусных: когда кто больше других сделает или лучше что-либо, то говорят: экий досужий парень или эка досужая девка или баба).

После сенокоса начинается такая же трудная и продолжительная полевая работа, в которой по их деятельности в трудах одна, кажется, веселость сохраняет от изнурения. Начав вскоре после полуночи, как только чуть свет пояснит предметы, работе подлежащие, продолжают оную до жестокого иногда жара полуденного, когда наступает время подкрепления изнуренности пищею и отдохновением; но они и в сие между пред обедними и после обедними работами короткое время успеют сходить покупаться в реке или по крайней мере облиться у родников и, кажется, этим подкрепляют себя более, нежели пищею и сном, а потом паки в поту работают до сумерок. Тогда жнецы и жнеи, помолясь, на месте работ, Богу, собрав все при них в поле находившееся, тронутся каждое семейство с своей полосы, сходятся на дороге, где к ним присоединяются пахавшие, боронившие и сеявшие, кои, оставя при везомых на телегах земледельческих орудиях старичков или малолетков, начинают песенку и с тем вместе забывают понесенные в минувший день труды; не смотря на то, что в сем ходу каждая из них что несет, которая посуду с пищею и питьем к ним на поле вынесенную, которая за плечьми в колыбельке грудного ребенка, а которая уже отнятого от груди, но ходить еще не могущего, на руке, неся при том на другой тоже что-нибудь из посуды, но и сии не отстают ни в ходу, ни в песнях и прочих забавах, какие можно употребить, идучи с ношами. Сию картину вместе с тою, которую они изображают, рассыпавшись по полям каждый на своей полосе, поспешает сделать предположенное и приняться за другое, описать не умею, однако же, она, оставшись в моей памяти всегда, при взгляде на земледельческое семейство, напоминает, с каким понятием должно смотреть на земледельца.

Судя по неразлучной с ними веселости, казалось бы, что они и любят только одну веселость, а труды только

собственно их пользу составляющие; напротив того, они любят и господ своих, сколь бы он ни был не знатен и столько к ним привязаны, что я так же, как и веселости их, в подобных им приверженности нигде не находил. Каждый готов был драться с тем, кто осмелится сказать что-либо к осуждению господина его, хотя бы он и не видал его никогда, а потому они не только своих, но и чужих господ не пересуживали, кроме тех, кои, ездя со псовыми охотами, истапывали их поля,—тем они пели песни, выражающие занимающихся такую охоту в самом невыгодном виде и разумении. Но и из охотников они соседа и хорошего отцу моему приятеля В. Н. П...ва любили, потому что он, не известя в виде просьбы позволения батюшки моего, в общие наши рощи не приезжал, при том по уборке уже с полей всего и не кидал гончих близ озими, дабы оную не топтать не только лошадьми, но даже собаками. При том он был не такой охотник, какие в песнях их описываются: *крестьян продают, собак покупают*, напротив, собак продавал, а крестьян покупал. В самом деле, он имел хороший завод собак и продавал по тогдашним временам, когда дорогою ценою за одну он взял пятьсот рублей, что ныне 2000, с губернатора...

Работу на господ, которые почти все жили в других местах, не смотря на заочность, отправляли точно так же, как бы под личными их распоряжениями, и при том так много, что из числа разных барщин одна, состоящая из восьми душ одного семейства, обрабатывала по десятине на душу, следовательно, каждый год по шестнадцати десятин для господина обрабатывал один двор, который за всем тем был из числа богатейших сей деревни и только жать посылал господин из другой деревни ему на помощь. Каждая барщина, сколь бы ни была мала, поставляла себе в преимущество, если которой удавалось сделать что-нибудь барское лучше других и тогда над теми, кои по небрежению ими упущению время сделали не хорошо для своего господина, и даже в размолвках попрекали: какие вы крестьяне, что для барина своего сделали хуже всех. Видя такую тщательность, и отец мой своим крестьянам не назначал для своей работы дней, не

разделял с ними по три, потому что маленькая его барщинка выбирала для господской работы лучшие времена и работала так, что и неотлучный надзор не мог бы прибавить ничего лучшего.

Трудно и, кажется, невозможно отыскать причины всему тому, что было в сем малочисленном народе необыкновенного и почему все то только одним им свойственно, а не всем, около их селения близко или далеко жившим. О веселости их хотя и мелькает некоторое понятие, что в оную ввели их песни и игры, которые, как господа с ними жившие, услыша в Москве или другом каком городе, или у соседей своих, также откуда-нибудь получивших, передавали им чрез сенных и дворовых, также из них самих, работавшие в извозах и на водоходных судах каждый раз всякий, как оброк, приносили по новой или старой, но до того им неизвестной, вместо гостинца передавали, а они, разучивая голоса и слова, даже и за работою привыкли, при каждом случае, вспоминать приличную каждому песню и, занимаясь ими для выучивания, или уже для забавы, неприметно сделали веселость неразлучною своею спутницею, притом же и господа, в старину, не имея музыки, призывали их, под названием игриц, на свадьбы свои и, иногда, в праздники, гостей позабавить, приучали их дарами также к веселости и опрятности, а сии уже, в общем кругу жителей сей деревни, возрождали соревнование, также и в работах деятельность, веселостью сопровождаемая, вводились, утверждались и поддерживались введенным обыкновением наказывать ленивых и даже деятельных, но угрюмых, средствами, повидимому, шуточными, но как при всем этом, повидимому, только празднoлюбивому народу свойственном, вселилась в них беспримерная к господам приверженность, это мною не отгадано и, кажется, как тогда беспримерным, так и ныне едва ли где подобными им подражаемым.

Вот только, что я со времени возникшей во мне памяти до определения в училище и в приезды оттуда к моим родителям успел узнать о сем немногочудном, но особенностями богатым народе, из коего и родители мои имели хотя весьма

малую часть и были довольны своим состоянием, пока стечение разных обстоятельств, одно за другим следовав, не расстроили во всем их и всего нашего семейства...

Н. Толубеев.

БУНТЫ ЗАВОДСКИХ КРЕСТЬЯН В КАЗАНСКОЙ И СИБИРСКИХ ГУБЕРНИЯХ.

В царствование императрицы Елизаветы Петровны, в 1760 году, взаимными друг на друга требованиями и жалобами заводчиков с приписными к заводам крестьянами как в Казани, так и Сибирских губерниях, возникли, от одних непослушания, а от других для понуждения их к работам, тяжкие истязания; от сего последовали беспокойства, неправильным же толкованием изданного в то время правительствующим сенатом указа, коим воспрещено было приписывать крестьян к заводам, замешательства и самый мятеж распространился и особливо по сибирским заводам. Многие как казенные, так и частные, пришли в упадок и на иных работы совсем остановились. Для прекращения сего и приведения приписных крестьян к должному послушанию, а заводов в прежнее действие, были отправлены императором Петром III при самом начале его кратковременного правления (6 марта 1762 г.) генерал-маиор Кокошкин и полковник Лопатин; и как они нашли не только неповиновение, но и сопротивление, то императрица, возложив на генерал-квартирмейстера князя Вяземского обуздать сих мятежников, дала ему повеление (6 декабря 1762 г.) немедленно отправиться на место и стараться восстановить везде спокойствие и деятельное послушание. По сродному ей человеколюбию, в инструкции своей предписывала: избегать сколько возможно жестоких мер и употреблять более увещевания и ласки, стараясь укротить буйство крестьян толкованием, что, не повинаясь установленным над ними начальствам, сопротивляются они не только власти царской, но и самой воле Божией; милосердное сие расположение, столь свойственное истинно монаршей

душе ее, было, по несчастию, к прекращению уже укорененного зла безуспешно. Отряженные от князя Вяземского чиновники встречали такое сопротивление, что употребляя иногда и воинские команды и доходя даже и до кровопролитных сражений, с потерей с обеих сторон не малого числа убитыми и ранеными, не всегда успевали в покорении мятежных шаек.

В сие время императрица возложила на генерала-квартирмейстера князя Вяземского должность генерал-прокурора, которую он с отличным усердием и деятельностью исправлял до конца жизни своей, указом 15 декабря 1763 года повелела Александру Ильичу (Бибикову) поспешно отправиться в путь и, приняв все дела и инструкции, данные князю Вяземскому, приступить немедленно к исполнению по оным.

Приехав в Казань 4-го января 1764 года, Александр Ильич, нашед уже там по возвращении из Екатеринбурга князя Вяземского, неотлагательно принял от него возложенное препоручение, и 8-го того же месяца с ним же послал императрице рапорт о вступлении в должность. донося, что первым правилом поставляет требовать, чтобы как казенные, так и партикулярные приписные к разным заводам крестьяне приступили к положенным на них работам и необинуясь повиновались установленным над ними начальникам, не отказывая, однако, ни которому из них в принятии их благорассудных просьб, и обещаая всем вспоможение и удовлетворение законных их желаний, но твердо настаивая в том, чтоб всякой из них предварительно покорился и с послушанием и тщанием исполнял возложенные на них должности и работы; что со всяким рачением и неутомимостию стараться будет разыскать источники и настоящие причины, возбудившие сие столь вредное волнение в народе, потом он предприимет самые деятельные меры не только к немедленному прекращению, но и к конечному их искоренению; и надеется с помощью Божиею достигнуть до приведения всего края в вожденное спокойствие, а заводы в должный порядок и прежнее действие...

А. Бибиков.

УСМИРЕНИЕ КРЕСТЬЯН ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ¹⁾.

В одно утро, по обыкновению моему приехав к нему, (ген. Философову, я крайне был удивлен, увидя запреженный дорожный его экипаж у крыльца. Войдя же вкомнаты, нашел я его совсем готовым к отъезду. Увидя меня, сказал он: „Прощай, мой друг, я еду, а ты останешься здесь. Когда я буду иметь в чем до тебя надобность, то к тебе напишу, между тем надеюсь я скоро с тобой увидеться“. Неожиданный его отъезд неизвестно куда и приказание остаться мне в Петербурге не только меня удивили, но и огорчили. Из того, что новый мой начальник, столь желавший прежде, чтоб я был всегда при нем, оставляет меня теперь, я заключил, что не имеет он ко мне никакой доверенности. Но я ошибся в моем заключении. Привычка его быть употребляемым с молодых лет в важных делах заставила его быть до известной степени и до времени весьма скромным. Прошло не более четырех дней, как получил я от него повеление, чтоб я наискорее прибыл к нему в город Псков. Я прибыл к нему на другой день повечеру, по выезде моем из Петербурга, и нашел его окруженным гражданскими и земскими полицейскими чиновниками. Увидев меня, сказал он: „как я рад, что вы поспешили ко мне прибыть; пожалуйста сюда!“ Мы удалились с ним в особую комнату, и он начал мне говорить следующее: „Стыдно придворным людям, а еще стыднее старым и заслуженным генералам для каких-нибудь собственных видов делать из мухи слона. Вам, может быть, известно, что генерал князь Репнин отправился из Петербурга с тремя гвардейскими батальонами в Новгородскую губернию для усмирения взбунтовавшихся там помещичьих крестьян. Я знал о том за несколько дней до выезда моего из Петербурга. Хотя государь мне сам о том сказал, но не зная существа дела и видя, что отправился туда князь Репнин, я

¹⁾ Помещаем этот обрывок для полноты картины здесь, хотя события, в нем описываемые, относятся к первому году царствования Павла. Они одинаково характерны как для времени Павла, так и для эпохи Екатерины II (сост.).

не мог сказать о том моего суждения. Дня через два после сего разговора с государем прислал он за мною повечеру довольно поздно, и только-что я вошел к нему, как сказал он мне с смущенным видом: возьмите, сколько потребно, войска и отправьтесь наискорее в Псковскую губернию: крестьяне и там взбунтовались. Ты знаешь, мой друг, продолжал он, что я сам псковский помещик и несколько десятков лет жил в моем имении и никаких наклонностей к мятежам или революции в сем народе не приметил. А потому и осмелился сказать государю: „Может быть, князь Репнин, отправившийся в Новгородскую губернию, не столько знает склонности и дух тамошних крестьян, как я псковских, быв помещиком сей губернии. По сей причине позвольте мне одному без войска туда отправиться. Может быть, простое в том какое-нибудь недоразумение, или представлено о том Вашему Величеству дело не в том виде, каково оно подлинно есть. Притом не может то укрыться от иностранных министров, что генерал-аншеф князь Репнин пошел усмирять новгородских крестьян; а я, другой, пойду с войсками против псковских. Сии господа могут сделать невыгодные для нас заключения, последствия которых могут быть неприятны. И так позвольте мне отправиться туда одному и узнать обо всем на месте. Если же потребно будет действовать силою оружия, то я и тут сам не пойду против мужиков, дабы тем не придать важности самим злоумышленникам; но пошлю к ним с полною властью и с потребным количеством войска надежного и расторопного штаб-офицера. Он будет действовать так же, как и я; ибо не в дальнем расстоянии буду от него находиться, и он во всем будет руководствоваться моими распоряжениями и наставлениями, но под своим именем“. Государь согласился на мое предложение, и вот почему оставил я вас на несколько дней в Петербурге, а потом вызвал сюда. После сего сообщил он мне все полученные им о сих беспокойствиях уведомления, дал мне письменное наставление, учредил под председательством моим комиссию, составленную из гражданских и полицейских чиновников, присоединив в качестве оной истребованного им от архиепископа депутата от духовенства. Он снабдил меня полной

властью от имени государя наказывать преступников на месте, брать всякого, не взирая ни на какое лицо, без исключения и духовных особ. Но более всего подтверждал он мне в наставлении своем *обнажить корень сего возмущения*, как он выражался, то-есть узнать причины, начальников заговора и их виды. Сверх того, снабдил он меня открытым повелением, по которому мог я требовать в мое распоряжение от всех встретившихся мне воинских начальников столько войска, сколько по усмотрению моему для того нужно будет. Ибо по вступлении на престол Павла I все войска должны были переменить свои квартиры, а потому вся армия находилась в движении.

Все сие происходило в первый год царствования Императора Павла I, во время самой суровой зимы.

Итак, я на другой день по прибытии моем в Псков, весьма рано, с членами комиссии, отправился в город Опочку, как ближайший к месту беспорядков. В тот же день прибыл я туда, хотя довольно поздно, и нашел там старшего брата моего, полковники Севского пехотного полка.

Он начальствовал сим полком несколько лет при Екатерине. Но Павел I устроил так, чтоб по примеру старых пруссаков был в каждом полку генерал-шеф оногo, а полковники оставались полковыми командирами. Когда прибыл я на квартиру брата моего, то сказали мне, что он пошел к шефу, генерал-лейтенанту князю В. В. Долгорукову. Я пошел к нему и застал сего претолстого и довольно пожилых лет генерала упражняющимся в особой зале с офицерами в приемах салютования экспантоном. Когда объявил я ему о причине моего приезда, то сказал он мне с холодностью.

— На что вам войско, и зачем туда вам ехать? Я уже послал для сего майора с батальоном и с здешним исправником. Оставайтесь с нами, завтра наверно получим мы известие, что все кончено.

На сие отвечал я ему:

— Сегодня, конечно, незачем мне далее ехать, а завтра, если бы и все было окончено, я все-таки с членами комиссии непременно должен отправиться туда для исследования причин сего возмущения. Поэтому прошу ваше сиятельство при-

казать приготовить еще один баталион от полку вашего и две легкие пушки, которые по причине глубоких снегов велю я в продолжение ночи поставить на сани.

— Ничего не будет надобно, отвечал он мне. Но если вы сего требуете, то я прикажу, чтобы к свету все было готово.

И подлинно, на другой день довольно рано баталион и пушки были готовы. Приготовясь к отъезду, пошел я с братом моим к кн. Долгорукову донести, что я намерен выступить. „Подождите немного,—отечал он,—я ожидаю всякую минуту донесения от моего майора“. Между тем, по русскому обыкновению, предложил он мне завтрак. Лишь только подали на стол закуску, как увидел я в окно несколько саней, подъехавших к его квартире. На них сидели солдаты его полка. Он сам, взглянув в окно, сказал: „вот это солдаты посланного мною с майором баталиона“.

Но как был он удивлен, когда вошедший в комнату унтер-офицер сказал ему, что он прибыл к полку с ранеными, что баталион разбит крестьянами и что майор и исправник взяты ими в плен. Нечего было более ожидать. Я, взяв баталион и пушки, отправился наискорее к месту сего происшествия, донеся обо всем генералу Философову.

Излишним почитаю я описывать здесь распоряжения мои в сем случае. Скажу только, что нашел я майора в одном помещичьем доме вместе с исправником больными от побоев мужиков. Последние, захватя их, привезли в какую-то деревню, которую, не знаю почему, они оставили и бросили в ней также майора и исправника. Крестьяне же оной, не участвовавшие в сем заговоре, отвезли их в дом своей помещицы.

Принятыми мною мерами в десять дней все возмущение было прекращено, зачинщики пойманы и открыты причины. Одна из главнейших причин была та, что Павел I, вступая на престол, велел всех без изъятия привести к присяге на верность ему и подданство. Злонамеренные люди, а особливо некоторые из священников, начали толковать крестьянам, что они не принадлежат более своим господам,—но, учиня присягу на подданство государю, должны от него только и

зависеть. Вторая же причина, гораздо основательнейшая, состояла в неудовольствии крестьян на помещиков за худое с ними обращение. Доказательством сего последнего может служить то, что в том же уезде многие деревни, принадлежавшие добрым помещикам, не только остались спокойны, но, не быв в силах защитить своих господ от мятежников, доставляли им средства удалиться в ближайшие города.

Важнейших преступников низкого состояния велел я наказывать телесно, больше опасных—отослать на поселение в дальнейшие губернии. Что же принадлежит до некоторых бродяг, приобретших себе право дворянства в России, что не так трудно, как я в начале записок моих о том сказал,—и духовенства,—то хотя имел я полную власть их наказывать, не хотел я однако переступить коренных российских прав. Да простит мне читатель мой, что я так тогда думал и полагал, что могут существовать в России какие-либо права. Я отослал их к высшему начальству, а оно—на решение Павла I. Государь, не взирая на коренные права, которыми дворянство и духовенство изъемяются от телесного наказания, велел их высечь кнутом и сослать в Сибирь в каторжную работу. Павел I в начале царствования своего боялся первоначально нарушать таковые права. Поэтому, чтобы дать вид закона своему определению, в манифесте своем, по самодержавию своему, сперва лишил он этих несчастных дворянского и духовного достоинства, а потом велел наказывать кнутом, как людей, не имеющих уже никаких преимуществ. Однакож, не можно ли сказать противу сего и в самодержавном правлении, что за одно преступление самое человечество не позволяет дважды наказывать. Это было так ново во времена Павла I, но при сыне его Александре телесные наказания благородных людей и даже смертная казнь исполняются без всяких в определениях оговорок.

Хотя я был уполномочен определять наказания кнутом, но никогда не имел духа рассматривать мучительское сие орудие и действие оногo. Кнут употребляется у всех народов—для погоняния лошадей. Но сей кнут есть совсем другого рода. Историк российский Карамзин говорит, якобы русские переняли сие наказание у монгольских татар. Как бы

то ни было, но сказали мне, что искусный палач (есть в России люди, которые обучаются сему злодейскому искусству) тремя ударами может лишить человека жизни. Другие же, напротив, уверяли, что хотя сие наказание весьма мучительно, но не смертельно. А те, которые по наказании сем не скоро умирают, бывают удавливаемы в тюрьмах палачами, куда их обыкновенно после провожают,—и что сие наиболее делалось в правление Павла I-го.

За успешное окончание своего поручения награжден я был от императора Павла I-го командорственным крестом св. Анны 2-го класса. Командорство мое находилось в московской губернии и состояло из 150 душ, которого лишил меня вместе с прочими командорами император Александр I. Вместо дохода от имения в 150 душ, определил он мне по 270 рублей ежегодно ассигнациями, составляющими только четвертую часть настоящей цены.

По окончании моего поручения возвратился я к генералу Философову, который находился тогда в имени двоюродного брата своего не в далеком расстоянии от места действия моего. Там сделал он подробное о всем донесение государю и отправился вместе со мною в город Минск, назначенный для его местопребывания. Там занимался я большей частью письменными делами в его канцелярии, и показыванием в войске разных ни на что непотребных оборотов, которые успел я перенять в бытность мою в Петербурге, живя в доме моего генерала...

С. Тучков.

ЧУМНОЙ МЯТЕЖ В МОСКВЕ.

I.

Вдруг, 21 числа сего месяца (т.-е. сентября 1771 г.), поражены неописанным образом все мы были страшным известием о случившемся в Москве великом несчастии, и бывшем в оной страшном мятеже, возмущении и убийстве архиерея московского.

Господи, как перетревожил и смутил всех нас тогда слух о сем печальном происшествии. Нам случилось тогда быть всем вместе, как мы сие известие услышали и нас оно так

всех поразило, что мы остолбенели и не могли долго ни одного слова промолвить, а только друг на друга взглядывали, и насилу—насилу собрались с духом и начали рассуждать и говорить о сем предмете. И чего, и чего не придумали мы тогда о могущих произойти оттого печальных и бедственных следствиях!

Поводом к несчастному происшествию сему и обстоятельства оного были, сколько нам тогда по разносившимся слухам и по письму одного самовидца, имевшего в сем бедствии личное соучастие, было известно—следующее *):

Как скоро язва в Москве так сильно начала усиливаться, что не можно уже было удержать ее в пределах, какие предосторожности и старания к тому употребляемы ни были, и чума взяла верх над всеми полагаемыми ей препонами, то сие так всех живущих в ней устрашило, что всякий, кто только мог, стал помышлять о спасении себя бегством и действительно уезжал и уходил из сего несчастного города, а особливо, узнав, что не было к тому и дальнего препятствия. Ибо, сначала хотя и учреждены были при всех въездах и выездах строгие заставы, невыпускавшие никого из Москвы; но сие продолжалось только до того времени, пока имела сам главнокомандующий тогда Москвою, старичек фельдмаршал, граф Петр Семенович Салтыков в ней свое пребывание, и находились также и все военные команды в городе.

Но, как для увеличивающейся с каждым днем опасности принуждены были и все почти последняя вывести из города в лагерь, да и сам главнокомандующий уехал в свою подмосковную деревню;—то ослабела сама по себе как полиция, так и прочие власти, и Москва поверглась в такое состояние, которое походило почти на безначалие, и очумленная общим и повсеместным несчастьем, глупая чернь делала что хотела, ибо ни смотреть за нею, ни действия ее наблюдать было некому, а всякому нужно было о самом себе помышлять.

*) О действиях администрации и ходе эпидемии см. выше стр. 59 (Сост.).

При таком критическом положении, когда из господ и дворян никого почти в Москве не было и в домах их находились оставшие только холопы, и те голодные; раскольники же и чернь негодовали на учреждение карантин, запечатание торговых бань, непогребение мертвых при церквях и на прочие комиссиею учрежденные распоряжения, которые были не по их глупому вкусу.

Не оставили и попы с своей стороны делать злу сему возможнейшее споспешествование, будучи движимы корыстолюбием и желая от народа обогатиться. Ни мало не из благочестия и истинного усердия, а единственно из корысти учреждали они по приходам своим ежедневные крестные ходы, и сделали сие без всякого от начальства своего дозволения. Но как народ от сих скопищ при ходах еще пуще заражался, ибо мешались тут больные, и зараженные и здоровые, то попы увидев, наконец, что они от доходов при сих богомолиях, заражаясь от других, и сами стали помирать, как то им от архиерея было предсказано, сии хождения со крестами бросили.

Но праздность, корыстолюбие и проклятое суеверие прибегло к другому вымыслу. Надобно было бездельникам, выдумать чудо и распустить по всей Москве слух, что не вся надежда еще потеряна, а есть еще способ избавиться от чумы чрез поклонение одной иконе.

Орудием к тому были двое: один гвардейского Семеновского полку солдат, Савелий Бяков, а другой фабричный Илья Афанасьев.

Бездельники сии, при вспоможении одного попа от церкви Всех Святых что на Кулишке, выдумали чудо, которое, хотя ни с величеством Божиим, ни с верою здоровою, ни же с разумом было согласно, но которому, однако, при тогдашних обстоятельствах, глупая, безрассудная и легковверная чернь в состоянии была поверить. А именно, на Варварских воротах, в Китае-городе, стоял издревле большой образ Богоматери, называемой „Боголюбской“; и помянутой поп разгласил везде, будто бы оной фабричной пересказывал ему, что он видел во сне сию Богоматерь, вещающую ему так:

„Тридцать лет прошло, как у ее образа, на Варварских воротах, не только никто и никогда не пел молебна, но ниже пред образом поставлена была свеча; то за сие хотел Христос послать на город Москву каменный дождь, но она упросила, чтоб вместо одного быть только трехмесячному мору“.

Как ни груба и ни глупа была сия баснь, и как ни легко можно было всякому усмотреть, что выдумана она самым невеждою и глупцом; однако, не только чернь, но и купцы тому поверили, а особенно женщины, по известному и отменному их усердию к Богоматери и приверженности ко всем суевериям, слушали с отменным благоговением рассказы фабричного, сидящего у Варварских ворот и обирающего деньги с провозглашением: „Порадейте, православные, Богоматери на всемирную свечу!“ и взапуски друг пред другом старались изъявить свою набожность служением сему образу молебнов и всеночных; и сие сделала не только чернь, но и самое купечество.

А жадные к корысти попы, оставив свои приходы и церковные требы, собирались туда с налоями и производили сущее торжище, а не богомолне; ибо всякий, для спасения живота своего, не жалел ничего, а давал все, что мог, добиваясь только службы, или подавал подаение.

Отсего, естественно, должно было произойти то следствие, что во все часы дня и ночи подле ворот сих находилась превеликая толпа народа; а денежных приношений накидано было от него целый сундук, тут же подле образа стоявший.

А как ничто тогда не было так вредно и опасно, как таковые скопища народные, поелику чрез самое то и от прикосновения людей друг к другу чума наиболее и размножалась; то полиция московская, как ни слаба была уже тогда в своем действии, и как много ни занималась единым только выволакиванием крючьями из домов зачумелых и погибших от заразы, вываживанием их за город и зарыванием в большие ямы, но не упустила и помянутого стечения народного у Варварских ворот из вида, но сначала всячески старалась разгонять народ. Но как мало в том успевала по чрезмерной

и даже слепой приверженности народа к образу и возлагания им на него всей надежды, то рассудила дать о том знать бывшему тогда в Москве архиерею и предложить ему, чтоб он поспешествовал к тому с своей стороны снятием с ворот и удалением куда-нибудь помянутого образа.

Первенствующим архиереем был тогда в Москве Амвросий, муж отличных достоинств, обширных знаний и жития добродетельного.

Сей, по причине оказавшейся в Чудове монастыре (где он имел обыкновенное свое пребывание) заразы, высылая больных вон, сидел сам тогда из предосторожности в заперти; но узнав о помянутом вредном стечении народа у Варварских ворот, долгом своим почел пресечь сие позорище.

Намерение его было удалить оттуда служащих молебны и всеночные попов, а образ Богоматери перенести во вновь построенную тут же у ворот императрицею церковь Кира Иоанна, потому что по причине приставленной к образу лестницы и множества превеликого молящихся, не было в Варварские ворота ни прохода, ни проезда; а собранные тут деньги употребить на богоугодные дела, а всего ближе отдать в воспитательный дом, в коем был он опекуном.

Вследствие чего и посланы были люди для призыва тех попов в консисторию; но они, разлакомившись прибытками и узнав, зачем их призывают, не только отреклись туда идти, но еще угрожали присланным побить их камнями. Сие хотя и раздражило архиерея, но он, как благоразумный муж, укротив свой гнев, за лучшее признал посоветовать о том, как бы поступить лучше в таком щекотливом случае, с некоторым начальником воинских команд и испросить у него для вспоможения себе небольшую воинскую команду.

Опасение, чтоб не обратить на себя простолюдинов и глупую чернь, произвело у них такое по сему делу решение, чтоб оставить до времени снятие и перенесение иконы, а к собранным у Варварских ворот деньгам, дабы они фабричными не были расхищены, приложить только консисторскую печать; а дабы учинить сие безопаснее, то и дано было обещание прислать на вспоможение небольшую воинскую команду из Великолуцкого полка.

Итак 15 сентября, в 5 часов пополудни, пришла в Чудов монастырь помянутая команда, состоящая в шести солдатах и одном унтер-офицере. И как наступил вечер, то, в надеянии, что народ разошелся уже по домам,—и отправилась она команда с двумя консисторскими подъячими и консисторскою печатью, взяв с собою и того самого попа, разгласителя о чуде и который в тот день допрашиван был по сему предмету в консистории.

Но прежде, нежели команда сия пришла к воротам Варварским, городской плац-манор был о том уже, и как видно от самого сего попа, с которым он делился сборами денежными, предуведомлен. И сей бездельник, зараженный корыстолюбием, жалкие собранные деньги, поспешил, до прихода еще их, приложить сам печать свою к сундуку с деньгами, а народу разгласил, что ввечеру сам архиерей будет к воротам брать икону и захватит себе все собранные деньги.

Сим произвел он во всех тут бывших для богомолия многих людях великий ропот и негодование, и, видя их наклонность к недопущению до того, вооружил всех кузнецов у Варварских ворот, в их кузнях находившихся, и ожидает с ними и другими людьми уже в готовности вступить с посыльными в самый бой.

Итак, когда пришла команда консисторская, то нашла она тут уже превеликую толпу вооруженного всякою всячиной народа, и консисторский подъячий едва только хотел приложить печать к сундукам, как вдруг некто закричал: „бейте их!“ и вместе с сим словом бросилось на команду множество людей и начали бить и солдат и подъячих. И как они, натурально, стали обороняться, то и произошла от сего в один миг страшная драка, соединенная с воплем и криком превеликим; что „грабят икону Богоматери и бьют защищающих ее“; а сие и воспламенило в один миг все пламя мятежа и народного возмущения.

Вопль и крик разливался по всем улицам, как вода; во всех ближних приходских церквах ударили в колокола в набат, а потом на Спасских воротах, и, наконец, и по всем приходским церквам и во всем городе; а сие и произвело всеобщую тревогу и возмущение всего народа, которой со

всех сторон бежал к Варварским воротам с дубинами, кольями, топорами и другими орудиями.

Таковое смятение, натурально, нагнало на всех людей, составляющих лучшую и умнейшую часть народа, страх и ужас; но никто так тем перетревожен не был, как помянутой архиерей. Сей, как предчувствуя приближающуюся к нему его страдальческую кончину, толико поражен был известием, полученным о сем мятеже, что от смущения не знал, что делать. Некто из консисторских чиновников, бывший тогда с ним вместе и все несчастное происшествие с ним видевший, и сам в оном некоторое участие имевший, описывает оное в письме к приятелю своему следующими словами:

„О таком смятении и бунте услышав, владыко немедленно поехал из Чудова со мною и в моей карете, к Михайлу Григорьевичу Собакину, в надежде там переночевать, яко у холостого человека. Мы застали его больного в постеле и от набатов в великий страх пришедшего.

„Мы принуждены были его оставить. Совет положили оттуда ехать к господину Еропкину; но как только выехали мы со двора от господина Собакина, то приказал он мне безти себя в Донской монастырь. Ни просьбы, ни представления мои не могли успеть, чтоб туда, то-есть в Донской монастырь, не ехать.

„Ехав по улицам ночью, какое мы видели зрелище! Народ бежал повсюду толпами и кричал только: „грабят Боголюбскую Богоматерь!“—все, даже до ребенка, были вооружены! Все, как сумашедшие, в чем стояли, в том и бежали, куда стремление к убивству и грабительству влекло их.

„В 10 часов приехали мы в Донской монастырь. В ожидании конца начавшемуся в городе смятению, я и не воображал, чтоб на Чудов было нападение. Но владыкин дух все сие предвещал; нрав народа был ему известен.

„В тот же вечер, обратившаяся от Варварских ворот, чернь устремилась ночью на Чудов монастырь и, разломав ворота, искала везде архиерея, грозя убить его.

„Все, что ни встречалось их глазам, было похищаемо, разоряемо и до основания истребляемо. Верхние и нижние архиерейские кельи, те, где я с братом имел квартиру,

экономские и консисторские и все монашеские кельи и казенная палата, со всем, что в оной ни было, были разграблены.

„Окны, двери, печи и все мебели разбиты и разломаны; картины, иконы, портреты, и даже в самой домово́й архиерейской церкви с престола одеяние, сосуды, утварь и самой антиминс в лоскутки изорваны и ногами потоптаны были от такого народа, который по усердию будто за икону вооружался. Тому же жребию подвержены были наши библиотеки и бумаги.

„В то время жил в Чудове, для излечения болезни, приехавший архимандрит Воскресенского монастыря, Никон, меньший брат архиерея. Чернь, нашед его и почитая архиереем, не только совсем ограбила, и хотя до смерти не убила, но так настрашала, что он от страха в уме помешался и вскоре умер.

„Наконец, какое было зрелище, когда разбиты были чудовские погреба, в наем Птицыну и другим отдаваемые, с французской водкой, разными винами и английским пивом. Не только мужчины, но и женщины приходили туда пить и грабить.

„Одним словом, целые сутки граблен и расхищаем был Чудов монастырь и никто никакой помощи дать не мог. Где тогда были полицейские офицеры с командами их? Где полк Великолуцкий для защищения оставленный города? Где, напоследок, градодержатели?

„Из чего заключить можно, что город оставлен и брошен был без всякого призрения. Из знатных бояр находился один только Еропкин в городе, и того убийцы искали, чтоб умертвить. Прочие же разъехались все по деревням.

„Федор Иванович Мамонов, приехав на гауптвахту, просил хотя десяти солдат, с коими мог бы всех выгнать из Чудова, но капитан отозвался неимением на то указа. Итак, до тех пор дрался в Чудове, пока и сам почти до смерти прибит был камнем.

„О сем происшествии сведали мы на другой день, то-есть 16-го числа, чрез посланного в Чудов одного служителя из Донского монастыря.

„Владыко приказал мне немедленно дать знать о сих горестных обстоятельствах, письменно, господину Еропкину с таким представлением: что, посланная, с общего их согласия, к Варварским воротам, для известного дела, команда от приставленных у Варварских ворот батальонных солдат разбита; что устремившаяся ночью на Чудов чернь все разбила и одни только остались стены; что она же чернь, хотя везде искала его убить, но особливим Божиим Провидением он в чем стоял спасся, и что угрозы расвирепевшей черни принуждают его искать убежища вне города.

„Окончание письма состояло в просьбе, чтоб дан был ему билет для свободного из города выпуска; Чудов монастырь с чудотворцем и оставшею братиею принял он в свое призрение, и чтоб о таком плачевном состоянии благоволил в Санктпетербург представить.

„Вместо билета прислан был от господина Еропкина конной гвардии офицер с приказанием, чтоб владыко поскорей выехал из Донского монастыря и чтоб переоделся, дабы его не узнали.

„Сказав сие, офицер побежал от нас дав знать, что он ожидать будет в конце сада князя Трубецкого и оттуда велит проводить на Хорошево в Воскресенский монастырь, куда имел намерение владыко уехать.

„Между тем, как владыко переодевался и покуда сыскали платье, заложили кибитку и делали к пути приготовления, услышали мы шум, крик и пальбу около Донского монастыря. Чернь, отбив карантины и Данилов монастырь и другие карантинные дома, спешила к Донскому монастырю.

„Каким образом сведала она о нашем здесь убежище, о том неизвестно и по сие время. Ни то посланный по утру в Чудов монастырь, для разведывания, служитель разгласил неосторожно; ни то монастырские слуги донские рассказали; последнее вероятнее.

„Уже была подвезена кибитка, в которую лишь только владыко, переодевшись в простое поповское платье, сесть и поехать с монастыря (успел), как вдруг начали убийцы ломать монастырские, со всех сторон, ворота. Страх и отчаяние всех нас тут постигло.

„Все, кто ни был в монастыре, искали себе спасения. Владыко с никольским архимандритом Епифанием пошел прямо в большую церковь, где пели обедню; рассеявшаяся по монастырю чернь, состоявшая из дворовых людей, фабричных и разночинцев, имея в руках рогатины и топоры и всякие убийственные орудия, искали архиерея и всех, кто им ни попадался, били домогаясь узнать, где скрылся архиерей.

„Что владыко со мною и в моей карете из Чудова уехал, мне видели многие, а тут увидели ее на дворе Донского монастыря и узнали. Один из подъячих архиерейской канцелярии, тут же бывший, объявил о моей карете. Кучер и лакей никак не сказали, хотя их смертно били, чтоб они об архиерее и обо мне объявили.

„Наконец сведения они, что архиерей в церкви, а я скрылся в бане, ибо мой малый, посадя меня тут, сам ушел и попался ворами в руки; а при мне в то время сидели в бане двое монастырских слуг, кои и топили баню.

„Злодеи, ворвавшись в церковь, ожидали конца обедни. Страдалец из алтаря увидел, что народ с оружием и дрекольми вошел в церковь, и узнав, что его ищут, исповедался у служившего священника и приобщился св. тайн, а потом пошел на хоры, позади иконостаса.

„Между тем, как злодеи, не ожидая конца обедни, ворвались в алтарь и искали там владыку, одна из них партия нашла меня в бане. Боже мой! в каком тогда находился я отчаянии жизни моей! Поднятые на меня смертные удары отражены были часами и табакерками, при мне тогда находившимися.

„Просил я их о нечинении мне зла, Вдвое того просили, не знаю еще какие сторонние, называя меня по имени и приписывая мне имя доброго и честного человека, в числе коих был и помянутый подъячий наш Красной.

„Меня потащили из бани, и встретившаяся другая злодейская партия лишила бы меня жизни, хотя две и получил от них контузии, еслиб первые мои злодеи не приняли меня под свое покровительство и защищение. Таково-то действие золота и серебра.

„Едва взошел я с ними на церковную паперть, как вдруг воспоследовала с нами, провожаемая из церкви с криком и шумом радостным, покойного страдальца роковая встреча.

„Злодеи мои, закричав: „вот он! вот он!“ бросили меня полумертвого. Представь себе, л. д., что со мною в таком горестном приключении происходило!

„Сидя еще в бане, приуговлял я себя к смерти и спокойно ожидал убийцов, радуясь, что достигну мученического венца; а тут уповал, что неминуемо потащат меня вместе со владыкою из монастыря. Но божеское Проведение сохранило меня цела и невредима.

„В древние времена церковь служила убежищем и для самых винных и порочнейших людей. В нынешнее же время архиерей и пастырь вытащен был от своих овец на убиение! Вот плоды просвещенного века.

„Но что я медлю и не приступаю к повествованию той жесточайшей для меня в жизни минуты, в которую я услышал, что владыко убит до смерти.

„Злодеи, вменяя за грех осквернить монастырь, а паче церковь кровию, вывели страдальца в задние монастырские ворота, где колокольня, и у самой рогатки сначала делали ему несколько вопросов, а потом мученическим образом до тех пор били и терзали его, пока уже увидели умирающа.

„Спустя четверть часа и скончался новой московской мученик, и тело, избитое и обогрненное кровию, лежало на распутии день и ночь целую, пока синодальной конторы члены, чрез полицейскую команду, заблагорассудили поднять.

„Вот точная трагедия, коей был я сам зрителем.

„Пролив неповинную кровь, убийцы, из коих, как наиглавнейший, был дворовый человек полковника Александра Раевского по имени Василий Андреев, и целовальник, московский купец Иван Дмитриев (кои оба потом, на том же месте, казнены виселицею), со многими другими побежали в город производить дальнейшие неистовствы; а я, чрез час после убийства владыки, уехал в Черную Грязь к князю Матвею Дмитриевичу Кантемиру, где и брат мой находился“...

Помянутым тиранническим убийством совсем невинного святителя, все богомерзкое скопище злодеев сих нимало не

удовольствовалося и не усмирилось; но, остервенившись однажды уже, рассеялось оно толпами по всем улицам городским и начали грабить и производить всякого рода наглости и буяинства.

Они провели весь тот день в сих бесчиниях мерзких и бесчеловечных. Самая наступившая потом ночь не могла укротить их бешенства и зверства; но злодейские скопища их умыслили зверство свое и буяństwo простирать на утрое далее: перебить всех докторов и лекарей и всех, какие были еще, начальников, а потом разграбить Кремль и все в нем находящееся; а особливо расхитить сокровища, которые они в Успенском и других соборах наитить надеялись.

Соблазняло и поджигало к тому их наиболее то известное им обстоятельство, что Москва находилась тогда в совершенном почти безначалии. Главные командиры все разъехались по подмосковным своим деревням; а и самых воинских команд было очень мало, ибо все прочие выведены были за город, в лагерь, для безопасности.

Что-ж касается до полицейской команды, то они ее, для малочисленности оной, не уважали и думали, что ей со всеми их великим множеством никак сладить не можно. А по всему сему и возмечтали зверские злодеи сии, что им ничто не в состоянии будет воспрепятствовать произвестъ злодейское свое намерение в действо.

В сем расположении злодейских своих сердец и умов, смолвились они на утрое сбежаться со всех сторон на большую торговую площадь, между Кремлем и рядами находящуюся. И не успело наступить утро последующего бедственного и кровопролитного дня, как и повалили со всех сторон превеликие толпы беснующего народа в Китай-город.

Уже наполнилась вся площадь и все улицы между рядами безчисленным множеством оного; уже многие сотни или паче тысячи бездельников сих бегали и бродили по Кремлю самому и допивали остаточные вины, отыскиваемые в погребах, там находящихся; уже все храмы и ряды, с бесчисленными сокровищами и товаров несметным множеством, подвержены были явной и ежеминутной опасности от расхищения, и наибольшее бедствие висело уже власно, как на волосе, над

всею Москвою; как невидимая десница Всемогушего удержала еще бедственной и роковой удар сей и, по бесконечной благодати своей, пощадил еще сию древнюю столицу обладателей наших, употребив к отвращению того совсем неожиданное и, повидимому, ничего почти незначущее, но такое средство, которое возымело тогда успех, превзошедший всякое чаяние и ожидание.

Сыскался в недрах Москвы один усердный россиянин и истинный сын отечества своего, восхотевший жертвовать всеми силами и самую даже жизнь свою для спасения великого города сего от бедствия величайшего.

— Был то отставной и никакой уже должности на себе не имевший, престарелый и мало до того народу известный, а того менее славный генерал, по фамилии Еропкин, а по имени, достойному вечного незабвения, Петр Дмитриевич.

Благодетельствующий еще Москве Промысл Господень удержал его, стечением разных обстоятельств, на сие время, и власно как нарочно для прославления его, в Москве и не допустил его выехать из ней вместе с прочими.

Сей не успел услышать о происшедшем мятеже подле Варварских ворот и потом о убиении архиерея, как, ведая, что нет никого из начальников московских, кому-б о усмирении мятежа старание приложить было можно, и предусматривая, что остервенившийся народ при одном том не останется, а прострет наглости свои далее, решился вступить самопроизвольно, хотя совсем не в свое, но крайне нужное тогда дело, и принять главное начальство над всеми находившимися в Москве немногими военными командами, и неуспно трудился во всю ночь не только собранием всех их, колико ему то учинить было возможно, в Кремль, но желая хотя сей спасти от наглости и расхищения народного, успел сделать и все нужные распоряжения к недопущению народа ворваться в оный.

Четыре входа было тогда в сию древнюю цитадель и известны под четырьмя воротами: Спасскими, Никольскими, Вознесенскими и Боровицкими; но из всех одни только Вознесенские оказались способными к заграждению оных затворами и железными опускаемыми решетками; прочие же долго-

временная безопасность, в коей сия столица находилась, сделала к тому неспособными.

Итак, по сделанному господином Еропкиным распоряжению, помянутые Вознесенские ворота тотчас были наглухо заперты и заграждены; а во всех прочих, кои запереть не было возможности, поставлены были пушки со многочисленными командами людей военных, собранных им кое-как и призванных из-за города.

Сим нетолько возбранен был вход вне Кремля находящимся мятежникам, но и все случившиеся внутри Кремля злодеи захвачены и переловлены.

По учинении сего, престарелый генерал, увидев страшное множество скопившегося на торговой площади народа, и слыша крик и вопль их, чтоб иттить на пролом в Кремль для расхищения оного, отважился выехать верхом к ним, и разъезжая между ними, усовещивал и всячески уговаривал народ, чтоб он успокоился и не простираал бесчиния своего далее.

„Полно, полно, друзья мои! говорил, он им: что это вы затеяли? Опомнитесь, пожалуйста, и подумайте, такое ли время теперь, чтоб помышлять о таких наглостях и бесчиниях. Смерть и без того у нас у всех перед глазами, и гнев Господень и без того нас поражает, и надобно-ли гневить его еще более злодеяниями такими“.

Но все сии и множество других убеждений, которыми он бунтующую чернь уговорить и укротить старался, не имели ни малейшего успеха. Множайшие не хотели нимало внимать убеждениям и словам его, и злейшие из мятежников кричали только ему:

„Убирайся-ка, убирайся, старик, сам скорее прочь отсюда, а то и самого тебя стащим с лошади. Слышишь! не твое дело, и ты ступай прочь отсюда“.

Нечего было тогда делать сему престарелому мужу, как действительно удалиться опять в Кремль к своим командам; но по достижении до оных, не оставил он еще кричать и убеждать их всячески, говоря, чтоб они отходили прочь и не отважились никак ломиться к воротам, сказывая им прямо, что буде не послушаются, то он по дуракам велит стрелять.

Но они не хотели тому никак верить. И как по приближавшимся к Спасским воротам велел он выстрелить, для единого устрашения, одними пыжами и направив выше голов и они увидели, что никто из них не был ни убит, ни ранен, то возмечтав себе, что не берет их никакая пуля и пушка и что сама Богоматерь защищает и охраняет их, с великим воплем бросились и повалили прямо к воротам.

Но, несчастные того не знали, что тут готовы были уже иные пушки, заряженные ядрами и картечами; и как из сих посыпались на них сии последние, а первые целые улицы между ими делать начали, перехватывая кого надвое, кого поперек, и у кого руку, у кого ногу или голову отрывая, то увидели, но уже поздно, что с ними никак шутить были не намерены.

И как таковая неожиданная встреча была им весьма неприятна и все злейшие заводчики, бежавшие впереди, почти наповал были побиты и ядра, попадая в стремившуюся народную толпу и достигая до самой улицы Ильинки, одним выстрелом по несколько десятков умерщвляли; то сие бывших назад так устрашило, что все бросились назад и разбежались в разные стороны, кто куда скорей успеть мог.

А сие самое по особливому счастью и положило конец всей этой трагической сцене; ибо не успели все находившиеся перед прочими воротами толпы услышать пальбу и вопли раненых и увидеть бегущий прочь народ, как и сами начали разбегаться врознь, и в короткое время не видно было нигде во всей Москве ни малейшей кучки и скопища народного, и полиции оставалось только ловить и вытаскивать из винных погребов тех, кои в них пьющие были заперты.

О сем-то страшном происшествии достиг до нас помянутой, 21-го числа сентября, первый слух, поразивший всех нас неизреченным образом.

...Между тем, в конце сего месяца обрадованы мы были до безконечности известием, что в Москве поветрие начало мало-по-малу ослабевать и утихало уже приметным образом.

Нашлись также тогда везде списки о умерших в ней, во все летние месяцы, чумою, и по оным—погубила она в ме-

сяще апреле—744, в мае—857, в июне—1,099, в июле—1,708, в августе—7,268, в сентябре—21,401, в октябре—17,561. Всего по ноябрь месяц 50,632 человека. А деревень, в одном московском уезде, заразилось 216, умалчивая о прочих уездах и провинциях. А сколько народу померло в Москве в ноябре и всего всех везде, было нам неизвестно, а думать надобно, что чума в сей раз похитила у нас около ста тысяч человек когда не более...

А. Болотов.

II.

Из письма императрицы Екатерины II к А. П. Библикову.

От 20 октября 1771.

Александр Ильичь! за Московскими дурнотами я на два ваши письма до днесь не ответствовала. Проводили и мы месяц в таких обстоятельствах, как Петр Великий жил 30 лет. Он сквозь все трудности продрался со славою и мы надемся из них выдти с честью. Начальство в Москве до невероятности ослабело, между тем ханжи выдумали народ лечить чудесами образа над Варварскими воротами. Тут толпы черни молящейся пуще заразились и во все время того богомолья по 900 человек на день умирало. Архиерей с генералом поручиком Еролкиным положили, чтоб из подволь умалить течение народа к сему месту, и для того архиерей 15-го Сентября к вечеру послал своих людей запечатать сбор у сего образа. Тут сделалась драка, от которой воспоследовал крик, что архиерей грабит Мать пресвятую Богородицу и его убить надлежит; обыкновенная полиция стала коротка—мать наша Москва велика; ударили повсюду в набат, чернь кинулась в Кремль архиерея искать. Чудов монастырь разграбили; главы нет в городе ¹⁾, унимать некому, обер полицмейстер от части и оплошал. По нещастию, под Чудовым монастырем и под

¹⁾ Главкомандующий, граф П. С. Салтыков, из опасения заразы, уехал в свое подмосковное с. Марфино.

архиерейским домом винные погреба, они были разломаны; вины выпиты, при чем драка умножилась и буйство. На другой день, т.-е. 16 сентября пошла часть черни в Донской монастырь, где архиерей скрылся, и вытащили его с четвертого яруса из церкви, что за иконостасом, во время поздней обедни, и за монастырем его убили и два карантина распустили. В сей день, после обеда, генерал порутчик Еропкин, который имел в своем ведомстве все, что до чумы касалось, которому даны были гвардии офицеры и солдаты как частные в городе смотрители, велел их собрать с людьми и, взяв 2 пущенки, пошел в Кремль, чтоб бешеную чернь разогнать. Тут вздумали с ним барахтаться, но картечи их скоро принудили уступить место и до 300 перехвачено, а солдат было 70 человек. Следствие теперь идет, из коего ясно открылось, что ни главы, ни хвоста нет, а дело вовсе случайное и все тихо; но болезни продолжают, хотя с великим умалением, ибо от 900 пришло уже на день по последним рапортам до 450. Здесь ничего этого неизвестно было, кроме усилившейся язвы и которые вести до меня дошли 19 сентября. Я, видя колико нужно туда послать особу с полною властью, по усиленной просьбе генерал фельдцеймейстера графа Орлова, его туда послала, и он из города выехал 21 сентября, а в Подберезье 22 числа его встретили вести о московском мятеже. По распутице не мог прежде туда прибыть как 26 числа. Ему чрезвычайно обрадовались все добрые люди, а негодные, чаю, испугались его приезда. Что же он в Москве по сию пору зделал, о том при сем прилагаю, из чего усмотрите, кто с ним туда отправился; ибо там до его приезда все, получа terreur panique ¹⁾ от язвы, по норам расползлись, но теперь паки возвратились по местам.

Что г. Суворов окончил фарсу г. Огинского сие весьма хорошо и тому радуемся, казалось всегда, что оно так и будет.

За сим желаю вам здравствовать и остаюсь к вам до-брожелательная.

А кто я вы ведаете.

1) Панический страх.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ О ПУГАЧЕВСКОМ БУНТЕ.

Отрывки из писем императрицы Екатерины II к Я. Е. Сиверсу.

От 10 декабря 1773 г.

... Два года тому назад я имела чуму в сердце государства, в настоящую минуту у пределов царства Казанского у меня такая политическая чума, из за которой много хлопот: ваш любезный и достойный сотоварищ Рейнсдорп уже целые два месяца как осажден скопищем разбойника, который производит страшные жестокости и разорения. Генерал Бибииков отправляется туда с войсками, прошедшими через вашу губернию, дабы укротить эту язву XVIII века, которая не принесет ни славы, ни выгоды России. Надеюсь однако, что, с помощью Божией, мы одержим верх, потому что эти мерзавцы (canailles) не имеют на своей стороне ни порядка, ни искусства: это сброд негодяев, имеющих во главе обманщика столь же наглого, сколь невежественного; вероятно все кончится виселицами; но каково это ожидание, господин губернатор, для меня, которая не любит виселиц? Европа, в мнении своем, причтет нас ко времени царя Ивана Васильевича! таков почет, которого должны мы ожидать от этой презренной проделки, Я повелела более не делать тайны из этого происшествия, потому что полезно, чтобы люди степенные высказывали о нем свои мнения и говорили о нем в том духе, как оно должно быть рассматриваемо...

От 11 сентября 1774 г.

... Маркиз Пугачев недавно, 25 августа, разбит нашим героем Михельсоном в ста верстах ниже Царицына. Донские казаки пустились в погоню по следам злодея и майор Дуве, привезший это известие, не хочет даже, чтобы сомневались, что он будет взят. Не надобно, впрочем, продавать шкуру прежде чем медведь пойман. Достоверно, однако же, то, что пушки, добыча, люди и животные—все досталось в руки корпуса Михельсона. Предатель ускакал во всю прыть с своей

обыкновенной шайкою каких нибудь пятидесяти Яицких казаков, к Астрахани по сю сторону Волги; там ему воды не замутишь, а 15 тыс. Донских казаков у него за пятами, на свежих лошадях, дают надежду, что он будет взят...

Отрывки из переписки императрицы Екатерины II с Вольтером.

(Писано в 1773 году).

Вольтер писал к императрице:

... Вероятно фарсу эту (бунт Пугачева) поставил кавалер Тотт ¹⁾, но мы живем не во времена Димитрия и театральная пьеса, которая могла иметь успех двести лет тому назад, теперь будет оовистана.

Императрица отвечала:

... Одни газеты много шумят о разбойнике Пугачеве, который не имеет ни прямых, ни косвенных сношений с господином Тоттом. Я столько же забочусь о пушках, которые льет один, сколько о предприятиях другого. Впрочем г-н Пугачев и г-н де Тотт имеют общего то, что первый каждый день сучит себе пеньковую веревку, а второй каждую минуту подвергается шелковому снурку.

Вольтер шутливым и льстивым его слогом, писал к императрице:

Я великодушно прощаю молчание вашего императорского величества и вновь возлагаю на себя прежния оковы. Ни султану, ни мне ни мало не выгодно на вас гневаться; но смею одно только условие предписать за все милостивейшее мое вашему величеству снисходительство; хотел бы я узнать: г. маркиз Пугачев не служит ли кому или не орудие ли чье нибудь? Я не полагаю, чтобы был он один из служителей Ахмета ⁴⁾, который так плохо их выбирает; он не

¹⁾ Барон Тотт р. 1723. Венгерец по происхождению, служил при французском посольстве в Константинополе (1757–63); был французским консулом в Крыму (1767); .. В Крыму Тотт помогал хану Керим-гирею против Русских, а в Турции улучшил артиллерию и инженерную часть и защищал Дарданеллы против русского флота.

служит покойному Ганганелли, отправленному к св. Петру с паспортом, данным от св. Игнатия ¹⁾; он, повидимому не на жалованье ни у китайского Богдыхана, ни у Шаха персидского, ни даже у Великого Могола. Желал бы я со всякою должною осторожностью сказать Пугачеву: „я не осмеливаюсь, г. маркиз! добиваться от вас кем вы возбуждаемы; но желал бы только знать: собственно ли за себя или кого другого действуете? словом: господин ли вы или чей холоп?“

От 22 октября 1774.

... Я охотно удовлетворю ваше любопытство на счет Пугачева: это мне будет тем легче, что месяц тому назад он был взят, или, чтобы говорить точнее, был связан и скручен своими же людьми в необитаемой долине между Волгой и Яиком, куда его загнали войска отовсюду против них высланные. Лишенные пищи и средств к добыванию съестных припасов, притом утомленные жестокостями, которые они совершали, надеясь получить прощение, его люди выдали его коменданту Яицкой крепости, который отправил его в Симбирск к генералу графу Панину. В настоящее время он в дороге: его везут в Москву. Представленный графу Панину, он простосердечно сознался на допросе, что он Донской казак, назвал место своего рождения, объявил, что был женат на дочери казака, что у него нет детей, что во время этих смут он женился на другой жене, что его братья и его племянники служат в первой армии, что он сам служил в первые две войны против Порты и проч.

Так как при генерале Панине находится много Донских казаков и так как войска этого племени никогда не поддавались на удочку этому разбойнику, то все это было вскоре подтверждено земляками Пугачева. Он не умеет ни читать, ни писать, но человек чрезвычайно наглый и решительный. До сих пор нет ни малейшего следа, чтобы он был орудием ка-

¹⁾ Лаврентий Ганганелли, бывший (с 1769 г.) папою под именем Климента XIV, ум. в 1774 г., как думают, от отравы, данной ему Иезуитами, которых орден он уничтожил в 1773 г. Отсюда у Вольтера намек на Игнатия Лойолу основателя ордена Иезуитов.

кого либо государства, или чтобы он последовал чьему бы то ни было внушению. Должно предполагать, что г-н Пугачев сам хозяин-разбойник, а не чей нибудь холоп.

Не думаю, чтобы после Тамерлана кто нибудь более изгубил человеческого рода. Во первых он вешал без помилования и безо всякого обряда суда всех лиц дворянского рода—мущин, женщин и детей,—всех офицеров, всех солдат, которых мог поймать; ни одно место, где он прошел, не было пощажено: он грабил и разорял даже те места, в которых, чтобы избежать его жестокостей и снискать его благоволение, ему делали хороший прием: перед ним никто не был безопасен от грабежа, насилия и убийства.

Но, что показывает до чего человек может себя обольстить—это то, что он осмеливается сохранять некоторую надежду. Он воображает себе, что из за его храбрости я могу его помиловать, и что он может загладить память своих минувших злодеяний своими будущими заслугами. Если бы он только меня оскорбил, то его рассуждение могло бы быть справедливо и я бы его простила; но это дело касается государства, которое имеет свои законы...

От 20 декабря 1774.

... Маркиз Пугачев, о котором вы мне опять говорите в вашем письме от 16-го декабря, жил злодеем и умер трусом. Он показал себя в тюрьме столь боязливым и столь слабым, что принуждены были с осторожностью приготовить его к приговору из опасения, чтобы он не умер на месте со страха...

К Настасье Семеновне Бибиковой от А. И. Бибикова.

От 30 декабря 1773.

Казань нашел я в трепете и ужасе: многие отсюда, или лучше сказать большая часть дворян и купцов с женами выехали, а женщины и чиновники здешние уезжали все без изъятия, иные до Козмодемьянска, иные до Нижняго, а иные до Москвы ускакали. Сами губернаторы были в Козмодемьянске. Теперь некоторые возвращаются, а иные уже и приехали.

Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны, так что и описать буде б хотел, не могу; вдруг

себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботе, нежели как с начала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из рук не выпуская; делаю все возможное и прошу Господа о помощи: Он един исправить может своею милостию. Правда поздненько хватились. Войски много прибывать начали: вчера батальон гренадер и два эскадрона гусар, что я велел везти на почте, прибыли. Но к утушению заразы, сего очень мало, а зло таково, что похоже—помнишь—на Петербургский пожар, как в разных местах вдруг горело и как было трудно поспевать всюду. Со всем тем, с надеждою на Бога, буду делать, что только в моей возможности будет. Бедный старик губернатор Брант так замучен, что насилу уже таскается. Отдаст Богу ответ в пролитой крови и погибли множества людей невинных, кто скоростию перепакостил здешние дела и обнажил от войск. Впрочем я здоров, только ни пить ни есть не хочется, и сахарные яства на ум нейдут. Зло велико, преужасно. Батюшку, милостивого государя, прошу о родительских молитвах, а праведную Епраксию не редко поминаю —ух! дурю!..

От 26 марта, из Бугульмы.

... Богу благодарение! поздравляю тебя и себя с тем, что злодейскую главную кучу 22 марта при крепости Татищевой разбили. Он згинул или ушел еще знать не можно. Всех их было десять тысяч. Не дождались в своем гнезде; он вышел из крепости и встречен за 52 версты от Оренбурга; побили их с лишком 2000; взято уже было 3000, а еще приводят, в том числе 600 одних воров Яицких казаков; взято 35 больших пушек. Мы потеряли 9 офицеров и 150 рядовых убито; 12 офицеров ранено и с 300 рядовых. Вот какая была пирушка! а бедный мой Кошелев тяжело в ногу ранен; боюсь, чтоб не умер, хотя Голицын и пишет, что не опасно; ты знаешь сколько я его люблю и как он того достоин. То то жернов с сердца свалился. Сего дня войдут мои в Оренбург, немедленно и я туда поспешу добратся, чтоб еще ловчее было поворачивать своими.—А сколько седых волос прибавилось в бороде, то Бог видит, а на голове плешь еще более стала, однако, я по морозу хожу без парика.

От 28 марта, из Бугульмы.

... Богу благодарение! Оренбург освобожден; теперь, мой друг, тебя и себя поздравляю. Дело мое сделано—правда, что и стоило мне это дельцо! Много крови испорчено; но теперь знаю я сам свою цену—что сделал. То то у вас будет праздник...

Письмо Панина.

Симбирск, 1774 г. Октября 1 дня.

Сегодня, милостивый мой друг и драгоценный братец, достигнул я здешнего города. В тож время пришел в мои руки адской изверг Пугачев. Отведал он от распаленной на его злодеяния моей крови несколько пощечин, а борода, которою он Российское государство жаловал, довольно дранья¹⁾. Он принужден был пасть пред всем народом скованный на колени и велегласно на мои вопросы извещать и признаваться во всем своем злодеянии. Я теперь, спеша принести мое уведомление Ее Величеству, несколько замедлившееся по моему сюда проезду, не имею времени, ни силы уже, работавши в оном и другом целые половину дня и ночи, а приехав с дороги, как только возблагодарить вас, драгоценный друг, за последнее ваше письмо, от 17 минувшего месяца мною полученное. Деревни графа Шувалова я до письма еще

¹⁾ Об этом же и почти в тех же выражениях писал граф Панин в Москву к князю М. Н. Волконскому. Поводом к такому обращению, была дерзость Пугачева. Когда он был приведен в первый раз к графу, то на вопрос: как он смел поднять оружие *против него*, отвечал: „что делать, ваше сиятельство, когда уж воевал противу Государыни!“ (Записки Державина, изд. Я. К. Грота, стр. 515). Жизнь графа Панина в Симбирске довольно подробно описана Державиным. „Граф вышел из кабинета в приемную галлерею, где уже было несколько штаб и обер-офицеров. Он был в сѣроватом атласном, щирокоем шлафроке, во французском большом колпаке, перевязанном розовыми лентами“ (там же стр. 515 и 516). Также одевался по утрам и князь Кутузов в 1812 г. (см. Записки Шишкова, Берлинское издание). Читатели Записок Державина помнят, как в обращении с Державиным выразился надменный, пылкий и в то же время чрезвычайно благородный и великодушный нрав графа Панина.

вашего возвратил в прежнее повиновение и принудил снести растащенное собственными его крестьянами деньги и хлеб; но он бы пожаловал не прогневался, что попу его отрубил голову, у нескольких сделал поменьше ушей и почесал у многих спины, а при деревне поставил все приуготовления для смертной казни, что я со всеми теми делаю, которые сопричащались изменническому бунтованию. Пребывай с Богом! Мне пора спать.

Письмо Петра Ивановича Панина к Князю Михаилу Никитичу Волконскому о Пугачеве.

Милостивый Государь мой

Князь Михаила Никитичь

За искренние Вашего Сиятельства меня поздравления со связанием Государственного злодея покорно вам благодарю. Он уже сегодня здесь, и дошел до моих рук, на площади окованной пред всем народом и в моих покоях пред всем собранием велегласно признаваясь в своем злодеянии, отдав от моей распалившейся крови на него произведения злодея и несколько моих пощечин, от которого из своего гордого виду тот час низвергса в порабощение. Надеюсь скоро Вашему Сиятельству касающиеся от него Москве доставить удовольствие увидеть его одного изверга. А как к проводе его требуется теперь со безопасности Московскую дорогу, по которой я положил от сель до Мурома все наслеженные для ево селения не далее, 60 верст одному от другого занять каждое одною ротою из моих войск, то ктому намерению прошу приказать Смоленскому Драгунскому полку споспешностию следовать в Муром, где он будет предъупрежден моим на то наставлением. Ваше Сиятельство не соизволитель приказать своим вашим равномерноже занятие зделать от Москвы до Мурома. Я о таком Вашему сношении и расположении донес во вчерашней реляции к Ее Императорскому Величеству требуя повеления, когда отсель злодея Пугачева в Москву отправить.

Второму батальону Нарвского пехотного полку и остаточным Гусарским эскадронам пожалуйте прикажите следовать к Арзамасу. А от туда в город Тарников, и так оставясь оному батальону требовать повеления, в своем распоряжении у своего Полковника Господина Татищева занимающего там и имеющего квартиру свою в Саранске. Гусарыж бы вто время следовали безъостановочно по дороге к Синбирску для присоединения к своему полку, расположенного близъ Синбирска в округе пригородков. И тако и есмь неотменно с большим почтением,

Вашего Сиятельства, Милостивого
Государя моего покорный слуга,

Петр Панин.

2) Октября
1774 году
Синбирскъ.

Г. Волхонскому.

Из письма Лугинина, приказчика Семена Долгорукова из Орнбурга присланного в Екатеренбург к приказчику Федоту Ахматову.

Я думаю, что вы не сочтете за излишний труд прочесть бывший у нас театр сего злодея, о коем я хочу вам к сведению донести. Оной изверг изчадия, Пугачев, обликом и ростом выхож на бывшего атамана Илецкой станицы Лазаря Портнова, коего вы довольно знать изволили, и отменное токмо тое, что сей изверг имеет на себе от золотухи в известных местах пятна, и притом несколько кос. Имея на себе экипирование халат Французской палевой с разными большими цветами тафты, полушубок тафтяной же цветом пунсовой, рубашка тафтяная зеленая и порты канфовы синие, шапка обыкновенная донского калибра, сабля шашка с серебряным ефесом, которое все, кроме рубашки и портов, отдано в награду посыланному для привозу его злодея Сот-

нику Харчеву; ему ж злодею вместо того украшения даны на руки и на ноги железа и к обогрению овчинная шуба. Такою чучелою и был выводим в присутствии господина Гвардии Капитана Маврина к посрамлению всех тех его Пугачева сообщников, которые по важности их преступления у нас под караулом еще содержатся человек с двести; и которые увидив его делали разные притворства большому смеху достойные, то есть одни за других себя закрывали, и иные ж, а особливо верховой старшина Емелькин любимец, а для стороны нашей престестественной злодей, Перфильев, в виде печальном переступая ногами с одного места на другое, вдруг быстрые воровские свои глаза уперли как быки в землю; а он Пугачев, как снаряженной разбойник, с отчаянным духом без всякого уныния смотря на них весьма быстро говорит, что хотя ему оные козаки, и прочие разного рода люди, и служили как истинному Государю, однакоже он отнюдь не то, а донской казак Емельян Пугачев, избранный к тому высочайшему именованию всеми здешними Яицкими казаками, заподлинно ведавшие о его Пугачеве толь подлом и гнусном состоянии, единственно для того, чтоб коснуться им к повреждению всеобщего отечества покоя, и тем или получить себе полное удовольствие, или навлечь уже на себя непростительный гнев и мечь природной нашей Императрицы. Таким двояким способом пользуясь как вероломные злодеи с добрым духом имели его Пугачева при себе для одного только виду без всякой власти, убеждая их при том что кровь невинных людей пролитая вопиять будет на небо, конечно, не на него, а Яицких козаков яко тому злу первоучастнейших. При сем случае настояла тишина. Казаки же в соответствие столь много произнесенных на них в ругательство слов в жалостном виде и утомленным духом не нашли больше для себя сказать только то, что они им Пугачевым были обмануты. И так Емелька вопреки тое им сказал же, что какие они верные рабы Императрице, так оные его сообщники. Чувствительно будучи тем тронуты, разхаркав свои слюни плюнули на него Пугачева, говоря при том еще, что он проклятый их до сего состояния довел. Тем и кончилось.

ПУГАЧЕВСКИЙ БУНТ.

Пугачев, то поражаемый войсками, посланными для усмирения мятежа, то усиливаемый новыми толпами злоумышленников, долго, как некий вихрь, носился в горах и степях малообитаемых, и летом 1774 года двинулся на север и обложил Казань. Оборона жителей заставила его промедлить; разграбленное и сожженое им предместье послужило к его неудаче; многочисленная чернь, составлявшая его шайку, вдалась в пьянство и грабеж; в это время войска Михельсона настигли и разбили его, но не схватили самого злодея; он с большим числом злоумышленников бежал за Волгу к Алатырю, в тот спокойный край, где мы жили. Сначала он был не известен, но через несколько дней, по присоединении к нему множества дворовых людей и крестьян, явился близ нашего селения, знаменуя везде свое шествие кровопролитием.

За три недели перед этим матушка родила, и в день, когда начались наши несчастья, 22-го июля, праздновали мы ее именины. По деревенскому обыкновению званы были гости, и уже стол был накрыт, как вдруг отец мой получил письмо от приятеля и соседа нашего, званного на праздник, который уведомлял, что самозванец в тридцати верстах от нас, пришел в господское селение, повесил приказчика и все имущество разграбил; вместе с тем он писал батюшке, что со всем своим семейством выехал, сам не зная, куда судьба его поведет.

Собравшись на скоро, поехали мы в город Алатырь, отстоящий в сорока верстах от нашей деревни. Перед вечером, приближаясь к городу, встретили мы знакомого, который сказал отцу моему, что Пугачев вступает в Алатырь, и народ с образами, хлебом и солью пошел ему на встречу. Весть эта была громовым для нас ударом; надо было бежать, а куда, Бог знает. Усталость лошадей принудила нас своротить в сторону, мы въехали в лесок, недалеко от дороги, где на пчельнике нашли одного только человека, у него в избе провели ночь.

На рассвете отправились мы, сами не зная куда. Приехав в первое селение, увидели множество народа, толпившегося

по улице. Окружив наши повозки, крестьяне остановили нас и спросили, куда едем и для чего; грубые их речи и наконец строгое требование, чтобы мы тотчас выехали из их селения, были для нас первым знаком народного волнения и грозивший нам опасности.

Выехав из села, поворотили мы в маленькую мордовскую деревеньку, находившуюся близ большого леса; остановившись у знакомого нам Мордвина, узнали мы, что вся чернь волнуется, ожидая Пугачева, и что, не подвергая себя крайней опасности, нельзя нам останавливаться ни в каком селении. Осведомившись о дороге, ведущей в чащу леса, взяв у Мордвина хлеба, сколько у него испечено было, и телеги вместо карет, пустились мы в лес, единственное наше тогда убежище.

Часу в десятом утра приехав к мельнице, находившейся в самой дремучей части леса, остановились мы кормить лошадей. В это время батюшка познакомился с мельником и узнал от него, что в глубине леса есть полянка, близ которой протекает речка, верстах в восьми от мельницы, а от ближайших селений верстах в пятнадцати, что дорога туда так дурна, что не легко доехать до поляны, и что не многие эту дорогу знают. Добрый мельник согласился проводить нас, обещая клятвенно не разглашать о том никому.

Едва к вечеру могли мы доехать до того места, где мельник, простившись с нами, подтвердил свое обещание и сдержал его.

На другой день, рано поутру, батюшка пошел осмотреть окрестности нашего убежища. Найдя в некотором расстоянии другую полянку, приказал привести туда лошадей; на той же, где сами остались, сделали шалаш. Всем розданы были ружья и пистолеты, и положено было обороняться в случае нападения.

Так пробыли мы трое суток, не слыша ничего кроме птичьего крику. В продолжение этого времени почтенный родитель мой делал нам наставления, основанные на чистой добродетели...

На четвертый день нашего пребывания в лесу, стал оказываться у нас недостаток в съестных припасах. Незнание обстоятельств того времени, надежда, что вслед за бунтовщи-

ком идут войска, поражавшие его всегда и везде, а более всего болезнь матушки, причиною которой были душевные и телесные беспокойства, заставили батюшку послать одного из людей наших в ближайшее селение для покупки припасов и для разведывания, что там происходит.

Человек этот казался нам верным, и действительно, я думаю, в начале он не имел злого умысла.

Приехав в селение, приискивал он купить, что ему было приказано, и вместе с тем разведывал о Пугачеве. Крестьянам это показалось странным; по причине повсеместного тогда волнения никто ничего не покупал, а все брал даром и убивал слабейшего за неисполнение его требования. И потому задержав его, стали расспрашивать, что он за человек и откуда; вероятно, собственная опасность заставила его сказать истину; тогда человек двести жителей того селения собрались против нас; а он, показывая им дорогу, довел до того места, где мы скрывались.

Приблизившись к нашему убежищу, разделились они на несколько партий, окружили нас и напали вдруг со всех сторон с большим криком. В эту несчастную минуту батюшка отдыхал в шалаше; люди оробели и побежали; сестры, схватив под руки матушку, побежали в лес; злодеи кинулись на батюшку. Он выстрелил из пистолета, и хотя никого не убил, но заставил отступить, и схватив ружье, лежавшее возле него, и трость, в которой была вделана шпага, — не видя никого из своих около себя, побежал в чащу леса, закричав нам: „прощай жена и дети“. Это были последние слова, которые я от него слышал.

В большом страхе бросился было я вслед за батюшкой, но чаща леса разделила нас; не видя его, я бежал, сам не зная куда. Запнувшись об обгорелое дерево, лежавшее поперёг дороги, упал я, и в эту минуту, увидев возле себя просторное дупло, вполз в него; через несколько минут, очнувшись от страха, я слышал стрельяние из ружей и крик около себя: „ищите и бейте“.

Пролежав долгое время и не слыша более никакого шума, решился я выдти из дупла, долго оглядывался во все стороны, прислушивался; наконец, не замечая никакого шума, пошел

к той поляне, где мы стояли. Тут нашел я несколько лоскутков изодранного белья и окровавленный платок, по которому должен был заключить, что кто-либо из ближних моих убит.

Теперь прошу читателя представить себе четырнадцатилетнего, избалованного и изнеженного мальчика, в лесу, перед вечером, незнающего дороги, без всякого оружия для обороны. Тут-то в первый раз послужили мне наставления моего родителя. Я молился, поручая себя воле Господа, обещал хранить завещание отца моего, плакал, не как испугавшийся ребенок, но как плачет взрослый от сокрушения сердца, целовал окровавленные лоскутки, прощался со всеми местами, где я сживал с родителем, слушая его наставления, и где видел я его в последний раз; потом, взяв палку, пошел по дороге, где видны были следы повозок, стал смелее и твердо был уверен, что не погибну.

Пройдя некоторое расстояние, и как стало уже смеркаться, слышал я шорох в стороне, и опросил. Голос мой узнали мои братья, из которых одному было десять, а другому семь лет. Они прибежали ко мне, и с ними наша няня; мы чрезвычайно друг другу обрадовались, и не зная куда идти, остались ночевать под деревом.

Поутру, лишь только стало светать, пошли мы по дороге, не зная куда она ведет. Уже солнце высоко поднялось, когда приблизились мы к речке, берегом которой шла дорога; прелестные места кругом, небольшие полянки, приятный утренний воздух и повсеместная тишина заставили было нас забыть ужасное наше положение, но вдруг услышали мы страшный крик: „ловите, бейте“. Я схватил за руку одного брата, бросился к речке и скрылся в густой траве у берегов, а няня с меньшим братом моим побежала по дороге. Злодеи, приняв ее за дворянку, погнались за нею, и один из них, ударил ее топором; в испуге она подставила руку, которая однако ее не защитила; острое, разрубив часть ладони, вонзилось в плечо; страшный крик сильно тронул меня. В то же время слышу я вопль брата, которого схватили и спрашивали, куда мы побежали. Не зная, что я делаю, я откликнулся и выскок из травы, явился к ним; они спросили мое имя, сказали, что знают батюшку, но что с ним сделалось, не слышали:

потом сняли с нас все платье и обувь и не делая более никаких грубостей, отпустили в одних рубашках, показав дорогу на мельницу, которая была не далеко.

Обессилевшую от раны, а более от испуга няню нашу поднял я и повел под руку к мельнице. Когда мы подошли к плотине, напали на нас две большие собаки, от которых, конечно, мы бы не в силах были защититься, если бы мельник не прибежал к нам на помощь. Этот добрый человек, узнав, что мы дворяне, откровенно сказал, что нянюшка может остаться у него, а нас он принять не смеет, боясь быть за то убитым со всем своим семейством. Но когда мы сказали ему, что сутки ничего не ели, то он пригласил нас на мельницу и обещал дать молока и хлеба.

У мельничного амбара, нам дали по большому куску хлеба и по ложке, и поставили крынку молока: лишь только принялись мы за приятную для голодного работу, как вдруг жена мельника закричала: „ай! казаки, казаки!“ Оглянувшись, мы действительно увидели толпу приближающегося народа; я испугался чрезвычайно и не помню, как спрятался с братьями под мельницу.

Толпа эта, увидя няню нашу, окровавленную, лежавшую, на земле у мельничного амбара, спросила мельника, что это значит; он сказал всю правду и указал место, где мы спрятались. Двое из толпы спустились по лестнице и вынесли на руках братьев моих; третий, взяв меня за волосы, потащил за собою на лестницу, а четвертый в это время бил меня сзади палкою.

Я увидел всю толпу у мельничного амбара; нас поставили в середину ее и стали произносить приговор. Всякий говорил свое и предлагал, как меня убить; а братьев, как малолетних, отдать бездетным мужикам в приемыши. Некоторые предлагали бросить меня с камнем на шее в воду; другие—повесить, застрелить или изрубить; те же, которые были пьяны и старше, вздумали учить надо мною молодых казаков, не привыкших еще к убийству. Слыша эти рассуждения и ругательства я ничего не говорил и уже готовился к смерти; но тут один из толпы сказал, что в будучи в городе, получил он от самозванца приказание привести к нему

дворянина, мальчика лет пятнадцати, умеющего хорошо читать и писать, за которого обещал дать 50 рублей награждения. Это предложение было всеми тотчас принято, меня начали экзаменовать, заставили писать углем на доске, задавали легкие задачи из арифметики, и наконец признали достойным занять важное место секретаря у Пугачева. Снисходя на мою просьбу они согласились не разлучать меня с братьями.

Мы пробыли у мельницы все время, необходимое на корм лошадей и на отдых пешим. Между тем, стали со мной обходиться почтительно, называли меня секретарем, рассказывали о разных происшествиях, относящихся до самозванца, о семье его и о намерении истребить всех дворян, и наконец о приказании крестьянам защищаться всеми силами от воинских команд, ожидаемых вскоре.

Во время этих рассуждений и рассказов, один пьяный казак, взяв меня за косу, сказал: „батюшка не любит долгих волос, это бабам носить прилично“. И тут же, прислонив меня к близь стоящему дереву, закричал другому: „руби, брат!“ Этот, будучи также пьян, отрубил мне топором косу вплоть к затылку. Я чрезвычайно испугался, но имел столько присутствия духа, что шутил на счет своих волос, и благодарил этих пьяниц.

Вести о близости воинских команд обрадовали меня; я стал придумывать, как бы мне укрыться от злодеев на несколько дней. Но между тем, надобно было отправиться с ними в путь пешком, без одежды и обуви.

Во время нашего путешествия подружился я с одним крестьянином, приставшим к толпе из ближнего селения. День уже склонялся к вечеру; мы стали выходить из леса; большие поляны, засеянные хлебом, показывали близость деревни. В это время слышу я рассуждение злодеев, ехавших верхом, которые говорили, что сомневаются застать самозванца в городе Алтыре, и что надобно будет вести меня далее, не зная, где найдут они Пугачева, и заплатит ли он обещенную сумму; другие говорили, что когда доведут меня до селения, и я объявлю себя секретарем, они принуждены будут не оставлять меня и жертвовать своим трудом и временем, быть-может понапрасну, и потому согласились убить

меня, не выходя из леса, а братьев, как малолетних, раздать в приемыши бездетным мужикам.

Слыша эти рассуждения, я страдал: сердце неизъяснимо ныло, но делать было нечего: надобно было молчать и притворяться еще, что не слышу. В это время крестьянин, подружившийся со мною и не вмешивавшийся в рассуждения, отведя меня немного в сторону, сказал: „или ты не слышишь, что ребята-то говорят?“ Я отвечал: „слышу, и если можешь, Бога ради, спаси меня и братьев“. Он, взяв с меня слово, что я пойду к нему в работники, обещал усыновить меня; рассказал, как найти деревню и дом его и потом, сказав злодеям, что идет с нами в сторону, велел бежать в кусты и там скрыться.

Как стало уже смеркаться, вышел я из леса и увидел деревню, где был дом моего избавителя, и возле нее ту маленькую мордовскую деревеньку, где останавливались мы ехавши в лес.

Я пошел в последнюю, в дом к Мордвину; его тогда не было дома, но жена его пригласила нас, как знакомых, благосклонно.

Через несколько минут собралось к ней множество жителей того селения; старшины, казалось, что-то грозно говорили хозяйке по-мордовски, и один из них, подойдя ко мне, сказал повелительно, чтобы тотчас вышел я с братьями из деревни, потому что им не велено принимать дворян.

Я повиновался, выйдя за околицу, сел на землю; недоумение сжимало мое сердце; я боялся идти в ту деревню, где жил крестьянин, пригласивший меня к себе; между тем, ночь уже наступила; заунывные голоса людей, стонявших скот, рев и топот коров, вместе с темнотою ночи, произвели такое чувство в напуганном моем воображении, что мне казалось лучше быть убитым, чем терпеть это страшное мучение духа.

Встав поспешно, пошел обратно в деревню, где не встретил никого на улице; войдя в дом к Мордвину, я не нашел в избе жены его. Оставленный тут маленький ребенок, сидя в зыбке, плакал, я сыскал в столе хлеб и нож, отрезал всем по куску и посадил братьев на палаты, куда и сам забрался.

По окончании домашних работ, хозяйка возвратилась в избу, засветила огонь, поужинала и, поиграв с своим ребенком, собиралась уже идти спать. В эту минуту, поспешно сойдя с палатей, бросился я перед нею на колена, прося позволение ночевать в ее доме; по утру же, если ей угодно, сама бы нас убила, или отдала бы на убийство... Долго не отвечала она ни слова, умильно смотрела на меня, покачивала головой; наконец слезы, покотившиеся по лицу убедили меня, что жалость взяла верх над страхом. Она, подняв меня, говорила: „Если сведуют, что я скрыла у себя дворян, то меня, мужа моего и ребенка нашего убьют и дом сожгут, но быть так“. После этого, сняв с палатей братьев моих, которые там уже было заснули, одела всех нас в мордовские платья, провела на задний двор в сенницу; положив на землю подушку, велела нам лечь, и одев шубою, накрыла нас пошевнями. От усталости я так сладко заснул, что ничего во сне мне не грезилось.

Лишь только стало светать, хозяин, сняв пошевни, покрывавшие нас, разбудил меня, и убедительно просил не губить его, и пока люди еще спят, выйдти из селения. В кратких словах изъяснил он мне все опасности нашего положения, говорил, что матушку и сестер провезли к Пугачеву, и что, конечно, уже нет их теперь на свете. Этот честный человек сам плакал, видя мои слезы. Когда я ему изъяснил, что желаю пробраться в свою деревню, он советовал, избегая встреч по дороге, спуститься к реке и берегом ее добраться до места; провел нас за околицу и простился со слезами со мною, говоря, что во веки нам не видаться.

Расставшись с человеком, бравшим участие в моем несчастье, и оставшись один с двумя младенцами-братьями, не имел я не только никакой помощи, но даже и надежды; единый Бог оставался нам подпорою... Подойдя к крутому берегу реки, при виде восходящего солнца, стал я на колена, молился Богу, и братьям велел то же делать; по окончании молитвы, спустились мы под яр.

Медкие камешки на песчаном берегу реки несносно кололи ноги, которые расцарапали до крови; меньшей мой брат не мог вовсе идти; я посадил его к себе на плеча, а

другому велел держаться за мою рубашку; так продолжали мы путь.

Следуя наставлению Мордвина, шел я верст восемь берегом реки до моста, перейдя который, вышли мы по маленькой лесной дороге на большую, никого не встретив. Наконец, когда показались места знакомые, и осталось менее десяти верст до деревни, увидел я человека, лежавшего под кустом, и привязанную подле него лошадь. Подняв голову, он спросил нас, что мы за люди. Я отвечал: „Дворяне“. — „Стой! куда?“ закричал он. Я бросился от него, но тяжесть на плечах, разбитые, исцарапанные распухшие босые ноги, изнеможение вследствие голода, все это лишило меня возможности спастись бегством, и я был схвачен крестьянином, который, взяв меня за ворот рубашки, привел к своей телеге и приказал лечь в нее, мучительным образом связал веревкою руки мои назад, локоть с локтем, и загнув ноги, привязал к рукам.

В то время, как вязал он меня, и я, чувствуя несносную боль, умолял его о помиловании, подъехал знакомый ему крестьянин, к которому посадил он в телегу моих братьев. Запрягая свою лошадь, он между тем говорил с товарищем своим, что когда привезут они нас в город и представят к самозванцу, то получат за каждого по десяти рублей.

По дороге к городу, не далеко от того места, где я был взят и связан, находилось большое село, близ которого было убито большое число дворян, и крестьяне того села более других участвовали в этих злодействах. Большой Алатырский лес окружен многими селениями; крестьяне, узнав, что дворяне, жившие в окрестности, скрываясь от самозванца, прячутся в лесу с своим именем, ходили шайками по лесу, ловили дворян, разделяли ограбленное имущество между собою, а дворян, отвозили к Пугачеву. Возчики наши, остановясь в селе близ церкви, пошли к толпе народа собравшейся на площади. Когда таким образом мы остались одни, старушка, жившая в богодельне, подойдя к моей телеге, положила мне облупленное яйцо и кусок хлеба, сказав: „прими Христа ради“; спросила, как зовут меня, и объявила мне, что знает нас,

что матушку и сестер провезли накануне и убили недалеко от села, и маленькую трехлетнюю сестру положили матушке на грудь. Потом, увидя, что хозяева наших телег возвращаются, простилась со мною, сказав, что и меня на том же месте убьют.

Отъехав две версты от села, увидел я, сквозь щели телеги, брошенные близь дороги тела убитых дворян. Полагая, что между ними находятся и тела близких моему сердцу, спросил я у крестьянина, куда он везет меня.— „В город, отвечал он;—потому что там только велено убивать дворян“. Я стал просить, чтобы развязав меня, он позволил найти тела матушки и сестер и проститься с ними; но он сказал мне презрительно: „ты сегодня же с ними на том свете увидишься“.

Отчаяние привело меня в ожесточение; я стал бранить его, укоряя, что он мучит человека, не сделавшего ему никакого зла, и продает его на убийство за десять рублей, и что в последние часы жизни лишает его горестной отрады увидеть и проститься с телами родных; наконец, страдая гневом Божиим, я достиг того, что он сжалился надо мною; развязал мне ноги, помог поворотиться и позволил сидеть на телеге.

Это снисхождение послужило мне только к большему мучению, я мог не только видеть, но и узнавать тела знакомых и родственников; сердце до того сжалось, что я уже не хотел оставаться в живых. Связанные руки мои распухли; запонка, оставшаяся у одного рукава, давила мне одну из них; я попросил крестьянина отстегнуть ее говоря: „она серебрянная, тебе годится“. Исполнив мою просьбу и любясь на запонку, он сказал: „ба. да ты брат, добрый, не сердись на меня“. Я отвечал, что если все переменится и будет по прежнему, и я останусь жив, то даю ему слово, что не только не будет он наказан за поступок со мною, но что я постараюсь наградить его. На это грозно он возразил: „врешь, этому не бывать; прошла уже ваша пора“. Однако вскоре после того развязал мне руки.

По приезде в город, представил он нас в канцелярию воеводы, где записали наши имена, заплатили ему за каждого из нас по десяти рублей, высадили из телег и приказали отвести в тюрьму, находившуюся близь канцелярии.

Насилу с помощью какого-то человека забрался я на лестницу и можно представить себе мое удивление и радость, когда увидел я матушку и сестер, посаженных тут в числе множества дворян. Я бросился с восхищением к матушке, но она холодно дав мне руку, спросила: „где отец?“ Я отвечал, что не знаю. После этого во все продолжение дня и следующей ночи, она ни с кем ни слова не говорила. Сестра мне рассказала, что человек, которого батюшка посылал из леса, был в толпе злодеев, напавших на нас, что он был пьян и ударил матушку и ее дубиною по голове; окровавленные их платья подтверждали истину этих слов; разбойники, выбрав все вещи из повозок, разделили их между собою и собирались убить матушку и сестер; но люди наши умоляли о помиловании, свидетельствуя о том, что господа были добрые; выйдя из леса, они провожали до тех пор, пока могли не отставать от повозок, ехавших тихо, и во все это время оказывали матушке и сестрам усердие и почтение; даже человек, ударивший их дубиною по голове, молчал и показывал вид раскаяния. Все это было причиною того, что крестьяне учтиво с ними поступали все время, и привезя в город, объявили о том воеводе, определенному от самозванца. Со слезами рассказывала мне сестра, что матушка в течение двух суток ни с кем не говорит, и что в поступках ее заметно помешательство.

На другой день поутру вошла к нам в тюрьму, для подаяния милостыни, горничная двоюродной сестры нашей, убитой во время смятения. Матушка спросила ее, не знает ли чего о батюшке,—„Его вчера повесили в деревне вашей“, отвечала та хладнокровно. Услыша это, матушка упала в обморок и долго пролежала без чувств, мы думали, что она скончалась, и окружив ее, рыдали; помочь же ей и не умели и не имели средств: у нас и воды тогда не было.

Очувствовавшись от обморка, матушка, стоя на коленях, долго молилась Богу, потом просила горничную рассказать подробности нашего несчастья. Женщина эта рассказала нам, что батюшка рано поутру прибежал к околице своей деревни, где встретил дворовых людей наших и некоторых крестьян. Сказав им, что он трое суток ничего не ел, разбросал свое

платье по лесу, будучи не в силах нести его на себе, просил дать ему молока и хлеба, что тотчас было исполнено; потом узнав, что матушку и сестер отвезли в город, просил, чтобы и его туда же отправили; люди исполняя его волю, запрягли парюю телегу, в которой он выехал из деревни, но какая-то женщина, мывшая на реке платье, увидя толпу злодеев, ехавших на другой стороне реки, закричала им: „барин здесь“. Эти люди тотчас же переправились вплавь через реку, и не застав батюшку в деревне, поскакали вслед за ним. Нагнав его в нескольких верстах от селения, заставили повернуть назад, и собравши всех дворовых и крестьян наших, объявили им, что, кто хочет, может бить его. Когда же все сказали, что довольны батюшкою, и просили ему помилования, то злодеи приказали везти его в город. Но тогда тот самый человек, который ударил матушку и сестру дубиною по голове, стал бить батюшку плетью; после чего казаки повесили его и стреляя в него, ранили в плечо и бок. Наконец, полагая, что он уже умер, сняв с виселицы, потащили за ноги к реке, и там в тине оставили.... Но видно, он еще был жив тогда, потому что преданные ему люди, чрез несколько дней после того выехавшие из города, нашли тело его и свидетельствовали, что пальцы правой руки его были сложены для крестного знамения. Такова была кончина человека, которого, по всей справедливости можно было назвать честнейшим. Все, знавшие его, единогласно в том удостоверяют, и все дела его подтверждают тоже; твердый в правилах, он был справедлив и щедр. Он погребен близь церкви. Часто после плакали мы на его могиле, и почтение к его памяти вечно останется в моем сердце.

Часу в десятом утра услышали мы шум народа, толпившегося около канцелярии. Караульные наши смотрели за нами слабо, я сошел вниз и слышу, все кричат: „Воевода¹⁾ идет

¹⁾ Не задолго пред бунтом, прислан был в Алзтырь к исправлению воеводской должности подполковник Белокопытов; он узнал о приближении самозванца, и заметив сильное волнение в народе, не имея никакой возможности сопротивляться, решился спастись бегством. Он ушел ночью с шестью солдатами из города в лес и унес с собою все деньги, кроме медных. Возвратясь в город, оставил в лесу при деньгах одного солдата и таким образом спас и себя и казну.

сечь и рубить“. Вскоре после того показались бежавшие окровавленные люди, за ним следовал воевода Белокопытов с обнаженною шпагою в руке, и кругом его пять солдат штатной команды с ружьями на плечах; двери пред ним отворились; он вошел в канцелярию; все робко на него смотрели и готовы были ему повиноваться.

Войдя в судейскую комнату, Белокопытов застал на воеводском стуле Сердешева, назначенного в воеводы самозванцем. Тут начался спор старого воеводы с новым¹⁾ Сердешев говорил, что не отдаст он Белокопытову своего места, потому что спас от смерти многих дворян; Белокопытов, не отвечая ему, закричал своим солдатам: „возьмите его!“ Солдаты схватили Сердешева, кто как попало, стащили его со стула и отвели под стражу. Тогда Белокопытов, открыв окно на площадь, чтобы все прежние начальники в городе и в предместьи тотчас явились к нему, что было исполнено немедленно. Вышед на крыльцо, именем Государыни, объявил он всем, что преступление их прощает, но только, чтобы жители поставили триста человек конных и вооруженных людей, которым обещал давать по одной копейке в день жалованья и назвал их *копейщиками*. Требование его скоро было исполнено, что он тут же успел осмотреть представленных ему людей, записать их имена, разделить на команды и определить к ним начальниками солдат, возвратившихся с ними из леса. Узнав, что партия бунтовщиков пьянствует в дворянском селении, в восемнадцати верстах от города, он отрядил туда команду, которая взяла их и привезла в город; некоторые из них замучены были до смерти, а другие посажены в острог; по показанию последних о другой партии, находившейся в другом селении, Белокопытов отправил и за ними команду; все это исполнил он в первый день своего

¹⁾ Инвалидной команды прапорщик Сердешев, не успев бежать, явился к самозванцу, и присягнул ему. Он определен был воеводою в Алатырь, и ему дан был указ, состоявший только в том, чтобы вешать всех дворян. Сердешев объявил в народе, что не позволяет убивать дворян в уезде, и приказал возить их для того в городъ. Чтобы успешнее привести эту меру в исполнение, он платил за каждого мужчину десять, а за женщину пять рублей, и таким образом спас многих от смерти.

воеводства. Я был очевидцем всех этих происшествий. Воспользовавшись свободой и оставшись без надзора по случаю перемен власти, я, не теряя из виду воеводу, шатался с прочими ребятами, то по площади, то в канцелярии; когда уже стало смеркаться, возвратясь в тюрьму, я нашел матушку в большом страхе, от моего долгого отсутствия. Со мною пришел подъячий, которого мать была попадьей в нашем селе; он предложил нам квартиру в его доме: хромою и престарелый регистратор, отец подъячего, сделал тоже предложение, но с тем, чтоб я просил дозволения на то у воеводы, и я не думая, что может быть в том отказано, ушел домой приготовить наш ужин.

Войдя в судейскую комнату, увидел я воеводу с пером в руках и что-то читавшего; я подошел к столу, имея на себе всей одежды одну только рубашку. Дождавшись, пока он взглянул на меня, я низко поклонился, объявил ему, что я дворянин его провинции, чудесно спасшийся от смерти, и просил позволить мне с семьей своей жить в доме подъячего. Воевода, не отвечая на слова мои, сказал: „пошел вон, теперь не до тебя“. Я вышел из судейской и объявил этот ответ молодому подъячему, который научил меня сказать часовому из новонабранного войска, что воевода приказал нас выпустить. Я исполнил совет этот успешно, и мы взяв матушку под руки, увели из тюрьмы; наступившая темнота благоприятствовала нашему бегству, и когда мы пришли в дом подъячего, вся семья встретила нас со слезами, и после ужина уложила нас в чистой комнате.

На другой день пред рассветом сильное волнение в городе разбудило нас; крик, шум, скачка по улицам навели на всех большой страх. Причина этого шума скоро объяснилась: сотня казачьего полка, прискакав в город, окружила канцелярию с ужасным криком и спрашивала: „кому вы служите?“ Вновь набранное войско, думая, что это партия бунтовщиков, отвечало, что служит самозванцу; командир сотни, поставя часовых, поскакал в дом к воеводе Бедокопытову, который в испуге спрятался в огороде, где казаки нашли его между двух гряд гороха. Когда они привели его к ротмистру, воевода, думая, что он стоит пред Пугачевым, объявил себя слу-

гою самозванца; ротмистр, дав ему несколько пощечин, вывел несчастного на площадь и при множестве собравшегося народа высек плетью. Таким же образом поступил он с воеводою Сердешевским и приказал связать им руки назад и посадить в две телеги, запряженные парюю.

В то время, как ротмистр управлялся с воеводами, казаки его команды бросились в обывательские дома грабить. Хозяйка наша обливаясь горькими слезами, просила помилования у грабителей; но казаки брали все вещи, которые находили и могли взять, не отвечая ей ни слова. Жалость взяла меня; не говоря никому ни слова, я, надев старый набойчатый халат и туфли моего хозяина, отправился на площадь. Ротмистр в то время бранился с связанными и посаженными в телеги, высечеными воеводами; я подошел к нему, объявил, что я дворянин, потерпевший несчастье от бунта, лишился отца, и не имея пристанища, призрен со всею оставшеюся семьею моею подъячим, которого ограбили казаки его команды. Ротмистр, хотя был пьян, но сжалился надо мною, — приказал сыскать казаков и отдать мне все взятое; в миг возвратили мне множество платья и вещей. И когда я объявил ротмистру, что я не в состоянии поднять все принесенное, он приказал казакам тотчас отнести все обратно, что и было исполнено.

Я понравился пьяному ротмистру; он поцеловал меня, объявил мне, что высек воевод, и спрашивал, не досадили ли они мне, обещая прибавить по несколько ударов. Потом он приказал привести на площадь бунтовщиков, привезенных воеводою Белокопытовым накануне и посаженных в острог. Казаки, подняв их на пики, растреляли. Совершив этот последний подвиг, собрал он свою команду и с обоими воеводами отправился из города, оставив нас без всякого начальства.

Возвратясь домой, я был принят подъячим и женой его с почестями; они называли меня благодетелем, спасшим их имение, и в награду за геройские подвиги подарили мне взятые у них халат и туфли. Но это торжество было не продолжительно; и я вскоре был причиною многих их горестей.

В тот же день вечером вступил в город гарнизонный батальон из Симбирска, и вскоре после того возвратился и воевода Белокопытов, у которого ротмистр просил прощения, протрезвившись и чувствуя, что поступил с ним неблагоприятно. Воевода, получив свободу, обещал ротмистру не разглашать, что был высечен плетьюми.

По возвращении своем, Белокопытов отправил несколько солдат на мельницу богатого купца привезти в город его имущество, что взял он за то с купца пятьдесят рублей. Я полагал, что если можно посылать команды, то воевода не откажет послать к нам в деревню объявить людям, чтобы явились в город и привезли все необходимое к нашему содержанию.

На другой день поутру, не сказавшись никому, пошел я к воеводе; я нашел его в канцелярии и изъяснил ему свою просьбу. Не отвечая на слова мои, он сказал грозно: „Как смел ты обмануть часового и увести свою мать, братьев и сестер из-под караула?“ Я с кротостию отвечал, что если бы увидел он положение матушки, то он сам бы сжалился над нами и приказал бы выпустить ее из тюрьмы. „Так нет тебе команды для посылки в деревню“, сказал он сурово. „Это от того, отвечал я, что нет у меня пятидесяти рублей“.— „Ах ты, сарафанник, щенок!“ закричал воевода. „Родился я с тем, возразил я, чтобы носить кафтан лучше твоего, потому что я дворянин, а ты солдатский сын“. Тут вскочил он со стула, затопал и закричал: „Розги! я высеку тебя!“ А я, подобрав длинные полы подъяческого, набойчатого халата убежал домой не сказав никому о своем приключении...

На другой день вечером возвратился дворовый наш человек, которого батюшка посылал в Оренбургскую деревню узнать, что там делается, и собрать оброк. На обратном пути, узнав о возмущении, он отпустил бывшего с ним крестьянина, и один, пешком, в разорванной одежде, пошел нас отыскивать.

Верность этого человека и радость его при свидании с нами сладостна была осиротевшим сердцам нашим, а деньги, которые он с собою принес, дали нам возможность не бояться нищеты. Узнав подробно о всех обстоятельствах, он нашел,

что не нужно просить команды у воеводы, и вызвался сам идти в деревню и привезти людей и все нужное к нашему содержанию. Матушка удерживала его, боясь, чтобы и его там не убили; но он не послушался и в ту же ночь отправился пешком в путь.

На другой день вечером пришли к нам человек двадцать наших людей, и в числе их тот, который указал место, где мы скрылись, ударил матушку и сестру, и один из всех участвовал в убийстве батюшки. Увидев его, матушка испугалась и вскричала: „Бога ради, не пускайте его ко мне!“ Я велел ему идти за собою, и взяв двоих людей, пошел в канцелярию. В то время воеводы там не было. Вызвав караульного сержанта, я объявил ему о преступлении этого человека, за которое он должен быть предан суду, и оставив его в канцелярии, возвратился домой.

Все это послужило воеводе, как видно, доказательством, что мы не имеем более надобности просить его милости, и на другой день, когда я был послан к нему матушкою объявить о поступках человека, отданного под стражу, воевода, хотя со злобою, но учтиво сказал мне: „Не погрешите пред Богом, если вы правого делаете виноватым“.— „От вас зависит оправдать его“, отвечал я. В тот же день игуменья, двоюродная сестра батюшки, скрывавшаяся до того времени в лесу, возвратившись в монастырь, дала свою рясу нашему портному и приказала сшить мне кафтан и прочие принадлежности одежды. Сапожник наш достал где-то кожи и сшил мне сапоги. Все это сделано было скоро, и я перестал быть сарафанником, как называл меня Белокопытов, видя в подъяческом набойчатом халате...

Д. Мертваго.

ОТКЛИКИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА В МОСКВЕ.

I.

„В то время (в конце февраля и в начале марта 1774 года), рассказывает Белькур,—дух смуты распространился и в Москве. Стали громко говорить в пользу мнимого Петра III. Весь город был в волнении. Во всех съезжих домах постоянно

секли, но и это строгое наказание никого не устрашало. Во всех концах города громко кричали: „да здравствует Петр III и Пугачев!“ Казалось, грозило всеобщее восстание. У графа Толстого люди натворили столько излишеств, что он был вынужден предать их в руки полиции. Они были приговорены к битью кнутом, но и под ударами кричали ура Петру III. Чтоб успокоить умы и затушить огонь, угрожавший всеобщим пожаром, распустили слух, что Пугачев совершенно разбит. На почте вскрывали все письма и перехватывали те, которые казались подозрительными: каждого домохозяина заставляли снова присягнуть, и не смотря на то, 6-го марта, около шести часов вечера, раздался во всех частях города всеобщий крик: „да здравствует Петр III и Пугачев!“ Можно себе вообразить, какое смущение он произвел. Все бросились бежать куда попало. Но твердость князя Волконского успокоила умы, и этот великий пожар потух без всяких дурных последствий...

Белькур.

II.

Не успел я только отпустить домой лошадей своих, как поражает слух мой такая всеобщая молва, разнесшаяся тогда вдруг во всей Москве в народе, которая потрясла всею душою моею и заставила тысячу раз тужить о том, что я услал лошадей своих. Заговорили тогда вдруг и заговорили все и въявь о невероятных и великих успехах злодея Пугачева; а именно, что он со злодейским скопищем своим не только разбил все посланные для усмирения его военные отряды, но собрав превеликую почти армию из бессмысленных и ослепленных к себе приверженцев, не только грабил и разорял все, и повсюду вешал и злодейскими казнями умерщвлял всех дворян и господ, но взял, ограбил и разорил самую Казань и оттуда прямо будто бы уже шел к Москве, и что самая сия подвержена была от соумышленников с ним ежеминутной опасности.

Теперь посудите сами, каково было мне тогда, как я все сие вдруг услышал, и в такое время, когда мысли о Пугачеве

не выходили у всех у нас из из головы, и мы все удостоверены были, что вся подлость и чернь, и особливо все холопство и наши слуги когда не въявь, так втайне сердцами своими были злодею сему преданы, и в сердцах своих вообще все бунтовали, и готовы были при малейшей возгоревшейся искре произвести огонь и поломя. Пример бывшего незадолго в Москве страшного мятежа ¹⁾ был у нас еще в свежей памяти, и мы не только подобного тому-ж опасались, но ожидали того ежеминутно. Глупость и крайнее безрассудство нашего подлого народа была нам слишком известна, и как при таких обстоятельствах не могли мы на верность и самих наших слуг никак полагаться, а паче всех их и не без основания почитали еще первыми и злейшими нашими врагами, а особливо слыша, как поступали они в низовых и прямо тогда несчастных местах с своими господами, и как всех их либо сами душили, либо предавали в руки и на казнь злодею Пугачеву, то того и смотрели и ждали, что при самом отдаленнейшем еще приближении его к Москве вспыхнет в ней пламя бунта и народного мятежа. И как не сомневались, что в таком случае первое устремление черни будет на дом главнокомандующего тогда Москвою князя Волконского, сей же дом находился близехонько подле нашей квартиры, и для безопасности вся площадь пред нам установлена была пушками,— то не долженствовало-ли все сие приводить нас в неописанный страх и ужас, и подавать мне повод тужить о том, что я поспешил отсылкою лошадей своих в деревню и остался в Москве с одним только и к тому-ж не слишком надежным человеком, и чрез то лишил себя средства и возможности при первом появлении начала мятежа, бросив все, ускакать в деревню. Словом, мы все почитали себя в таком случае погибшими и не знали что делать и к каким мыслям прилепиться.

А. Болотов.

¹⁾ Автор имеет в виду мятеж во время чумы (сост.).

ПУГАЧЕВСКИЙ БУНТ В ТАМБОВСКОМ КРАЕ.

Воевода города Рязани надворный советник Михаила Иванович Кологривов, представил полковнику Древицу и комиссии рапорт, что около города селения прилегающие, не слушаясь его предписаний, не дают лошадей на подставку для проезда его сиятельства графа Панина, и что он повседневно получает сношения от Шацкого воеводы, подполковника Лопатина, о возмущении народном в его провинции и вторичном уже нападении бунтовщиков на город Керинск, (отстоящий от Шацка в 80 верстах, от коих воевода Перский и оборонялся, но в третий уже раз атаковало город до 10 тысяч бунтовщиков), о чем и донес он московской губернской канцелярии и его сиятельству князю Михаилу Никитичу Волхонскому и графу Петру Ивановичу Панину.

По рассмотрении сих рапортов полковником Древицем, капитаном Галаховым и мною (и при воеводе Кологривове), положено было отправиться мне тайно вооруженным (добрыми пистолетами), в простом одеянии, тот же день в Шацк (и дознаться там о всех происшествіях), а полковнику Древицу с комиссиею выступить на другой день, оставя воеводе 1 офицера с 15-ю человек гусар для сгона подвод под экипажи графа Панина и его свиты, и на случай усмирения неповиновения черни. Предписано мне было, по приезде в город Шацк, объявить воеводе, чтоб для гусарского полка и комиссии тотчас отведены были в городе квартиры, а между тем рассеять слух, что через два дни весь сказанный отряд вступит в оный (на проезд до онога даны мне две подорожные: одна от полковника Древица, а другая от воеводы).

Проехав ночью кое-как многие селения и приехав 15 августа в село одно, около 11 часов пополуночи, нахожу в оном множество народа и много прогулявших. Спросил старосту и приказал ему, как можно скорее, дать мне за прогоны повозку с тремя лошадьми; который безотговорочно чрез час мне и привел оную.

Въехав (15 августа) из селения в лес и проехав оным версты две, вдруг подводчик остановился и обратясь ко мне,

спросил меня: (Не к батюшке ли государю ты едешь из Москвы), и не слышно ли в ней, скоро-ль наследник, государь, Павел Петрович изволит (к нему) здесь проехать? Мы его то и дело, что всякий день сюда ожидаем“.

Услыша от мужика сей странный вопрос, я нашелся только ему в ответ сказать:

„Молчи, брат!“.

Услыша мой отзыв, ударил по лошадям и поскакал.

Приехав в Шацк прямо в земляную крепость к воеводскому дому, у которого четыре старика статной команды подделывали к 3 чугунным пушкам низенькие топорные лафеты (и колеса), вошел в переднюю комнату воеводского дома; нахожу в нем слугу, держащего в руках вязанный им чулок и дремавшего крепко, разбудил его и спросил:

„Где г. воевода?“

(Слуга, делая свое дело и не вставая со скамьи своей), спросил меня: „на что он тебе?“ и отвечал мне: „воевода лег (недавно) после кушанья почивать“.

„Поди, мой друг“, сказал я ему, — „разбуди г. воеводу и поведи меня к нему“.

Но слуга отвечал: „Не знаю, как тебя назвать, но воевода не любит, чтоб его после обеда будить“.

„Поди! прикрикнул я на него, а не то я пойду и разбужу его сам“.

Нехотя, но пошел он, а я за ним, и пройдя две комнаты, остановился у двери слуга и постучал в дверь весьма умеренно, но из комнаты был вопрос:

„Кто там?“

„Я, Иван“, отвечивал слуга.

— Что такое?

„Какой-то человек приехал к вам и стоит со мною здесь у дверей“.

Минуты через две из внутри спальни (ключем) отворена дверь и г. воевода, человек около 9 вершков росту, вышел из оной в пестром шлафроке, в колпаке и туфлях.

Увидя меня, сурово спросил:

— „Что тебе надобно, а слуге сказал: Иван, постой здесь“.— Не говоря ни слова г. воеводе, но вынув из боко-

вого сюртучного кармана (подорожную) ордер, подписанный г.г. полковником Древицким и гвардии капитаном Галаховым, который воевода, взяв и вынув очки, начал читать про себя; но увидя в оном (майорский) чин мой (и что я отправлен в город ему подчиненный), вдруг с торопостью, снимая колпак, едва не уронил свои наемные глаза, подошел ко мне и весьма перемешанным голосом сказал мне: „извините меня, ваше высокоблагородие, покорнейше прошу сесть“, и спросил ту минуту: „батюшка, изволили вы кушать?“

Я. ему ответствовал: „пожалуйте, не заботьтесь обо мне“. Но г. воевода приказал своему слуге, стоящему при нас, накрывать скорее на стол и кушать давать. Между тем, я просил г. воеводу прочесть мой ордер и вышел к повозке заплатить подводчику прогоны и, заплатя ему оные, велел ему ехать куда хочет; попросил одного из служивых, работающего около пушечных лафетов, чтоб он из повозки вынул мой чемоданчик, плащ и саблю, спрятанную в сене под оным; а прочим как солдатам, трем человекам, трудившимся в подделке лафетов, так и стоящим без дела, разного звания, при сей работе, сказал:

„Перестаньте, служивые, трудиться около ваших чугуновых пушек; завтра придут сюда настоящие медные пушки“.

Служивые, выслушав меня, остановились, а стоявшие зрители, один за одним, начали уходить с своих мест.

(По приносе чемодана, вынул я мой мундир и оделся. Г. воевода, как я скинул сюртук, увидя два пистолета и кинжал, кои так были скрыты, что нельзя было их приметить, крайне удивляясь тому, сказал мне: „позвольте, батюшка, и мне пойти надеть мундир“. Он пошел одеваться и закричал Ивану скорее кушать давать. Между тем пошел я прямо за вал крепости и походя несколько времени по торговому месту, где более толпилось народу, из коего некоторые снимали шляпы и шапки, кланялись, а некоторые, увидя меня, удалялись).

Возвратясь к г. воеводе, нашел его, старика, в мундире штаб-офицерском, ибо он был подполковничьего или полковничьего чина. (Он представил меня своей супруге, а мне своего товарища и секретаря, а за ними назначенного мне вестового. Доложил я г. воеводе, чтоб он немедленно при-

казал к завтрашнему утру приготовить в самом городе квартиры полковнику Древицу и гвардии капитану преображенского полка Галахову и всему корпусу, как для лошадей, так и людей, что весьма обрадовало всех тут бывших. Г. воевода тотчас послал за своим офицером статной команды и за ратушными судьями, а меня просил пообедать, „что Бог послал“ сказав. За стол проводили меня его супруга, сам воевода, товарищ и секретарь, коих с великим трудом упротсил я сесть. Хозяйка несколько раз выходила из столовой и опять возвращалась в оную. Наконец, встав изо стола я таким же образом хозяйкою и прочими проведен в ту комнату, где с г. воеводою встретился и, к удивлению моему, увидел в ней более 30 дам и десятка два мужчин в различных нарядах, кои все вообще, при входе моем, встали, дамы иные кланялись, другие приседали, а мужчины, подходя с низкими поклонами, рекомендовались и все почти в одно слово говорили: „отец наш, ты своим приездом оживил нас всех“. После таковой церемонии начали рассказывать разные истории о неповиновении и возмущениях крестьян, кои надобно было выслушивать. Скоро появились в сей же комнате ратушные или магистратские члены и статной команды два офицера, коим г. воевода приказал, чтоб для имеющего завтра вступить в город корпуса войск, как для людей, так и лошадей были приготовлены квартиры, о чем и я им подтвердил, чтоб точно все то, что г. воевода им приказывает, было исполнено непременно; ибо корпус прежде половины дня в город вступит. Оставя собравшихся у г. воеводы, пошел по городу и походив по улицам более часу, возвратясь нашел еще более 70 человек дам и мужчин. Ночь прошла благополучно без всякого в городе шума и беспорядку.

Отдал воевода мне мой ордер и сказав мне, что приказал отводить квартиры, подал мне полученные вчерашнего дня от Керинского воеводы бумаги, в коих извещает, что до 10 т. бунтовщиков обступили его город и хотят штурмом оный взять, и что он в крайнем находится бедствии, не имея никакой воинской команды, кроме городских обывателей и двух, устроенных им пушек; но что он решился защищаться до последней капли крови.

Я советовал г. воеводе тотчас потаенно нарочного к Керинскому воеводе отправить и его уведомить, что полковник Древиц, с гусарским полком, егерями и шестью пушками завтра вступит в город, вам вверенный и что немедленно двинется с сим отрядом к Керинску; что г. воевода тотчас и исполнил. Он объявил мне также, что к нему в город съехалось до 300 мужеска и женска пола дворян, и что мужчины, с преданными им дворовыми людьми намереваются устроить ис себя конницу; но поджидают сюда отставного генерал-майора Левашева, которого и выбрали своим командиром.

Между прочим, как сам г. Лопатин, так и множество собравшихся к нему дворян, по узнании о моем приезде в город и отводе в оном квартир, рассказывали и уверяли меня, что с неделю тому, не более, как верст за 15 от города, в селе Сасове, в торговый день въехал в оное какой-то казачий генерал, в голубой ленте, с тринадцатью человеками казаков, которые кричали народу: „государь император Петр III изволит ехать!“ Народ бросился кто к нему, кто на колени и кричали „ура!“ Но он с своею командою тихо проехал чрез все селение и хотя множество народу за ним бежало, но казаки махали им руками, чтоб возвратились к торгу.

На другой день приезда моего в Шацк, осмотрел я все отведенные квартиры, а часу в 12-м пополудни прискакал квартирмейстер эскадронов, для принятия оных, а за ним, часа два спустя, вступил и сам полковник Древиц со своим отрядом.

По известиям, что Керинск атакован бунтовщиками, располагал полковник Древиц, с 3-мя эскадронами по полуночи выступит к Керинску, а 4-й—с комиссиею оставить в Шацке; но часов в 9 вечера прискакал от керинского воеводы Перского нарочный, что воевода разбил неприятеля, отогнал оного от города, рассыпал и взял многих в полон.

Рассказал нам нарочный, каким образом освободил город от бунтовщиков благоразумный онаго воевода:

„Видя он, воевода, свою и всего города неизбежную гибель, вымыслил (употребить последнее средство избавиться

от бунтовщиков: тайно собрал всякого рода сабли, пистолеты, ружья, копья, коих в городе довольно находилось число у жителей для обороны во время нападения, как своих так и у других выбрал лучших лошадей и находящихся под его присмотром 30 человек пленных турок (тайно ночью) уговорил, чтоб они согласились вооружиться, коих и снабдил саблями, пистолетами, пиками и лошадьми, к которым присокупил до 100 человек (отважнейших) жителей, нарядив оных кое-как в турецкое одеяние (чтоб они с туркам перед самую зарею вдруг из города сделали вылазку на первое то место, где более скоплено бунтовщиков), а сверх того собрал с пиками городских обывателей и дворовых людей человек до 200 с 2 пушками пеших; перед светом выступил сам с товарищем из города и напал на табор бунтовщиков; атаковал их вдруг с одной стороны конными турками, а с другой — пехотою с пушками, и сею атакою в такой привел спящих беззаботно во всем таборе бунтовщиков страх, что как скоро услышали пушечные выстрелы и крик турков, то брося лошадей и весь свой лагерь, всякий бежал кто куда мог, а конные турки, гнав бежавших, рубили, кололи и брали в полон“. Таким благоразумным вымыслом разбив воевода керинский сволочь бунтовщиков (и к свету около оногo не было ни одного человека), добивался от пленных узнать, кто командовал оными, но никак не мог от них о том узнать; но вообще по слухам предполагали, что в сем (возмущенном) краю было рассеяно от Пугачева некоторое число яицких казаков.

За таковой геройский и благоизобретенный подвиг государыня императрица пожаловать соизволила керинскому воеводе 5000 руб., а прочим, в сем деле находившимся чиновникам, сделано также денежное награждение, а туркам каждому выдано 100 руб., освобождены они все из плена и до границы сопровождаемы на казенный счет...

Рассказали нам также, что за варварство сделал с одною старушкою дворянкою Пугачев, при выезде из ее дома.

Дворянка сия оставалась в городе, имя которой у меня записано, но, по разборе через 46 лет моих бумаг, не мог

отыскать сию записочку, но в памяти моей не забыл поступка, с нею приключившегося, ибо при разговорах иногда рассказывал я оный моим знакомым.

Дворянка сия старушка была богата и чрезмерно скупа; хранила у себя всегда более 100 т. рублей золотой и серебряной монеты (кои соблюдала она паче души своей), о чем известно было всем, в городе живущим; но она всегда с клятвою отзывалась, что у нее никаких денег нет; вышла на встречу Пугачеву с хлебом и солью и упросила (удостоить ее дом своим посещением и въехать к ней) остановиться в ее доме.

Пугачев милостиво принял безбожной старухи сей приглашение и остановился со всем своим штатом у нее в доме, где и был угощаем (по старому обычаю банею и всем удовольствием). Проводив у нее ночь и поблагодарив старушку за ее доброе угощение, сел на своего коня, а старушка в радости своей пошла проводить своего благодетельного гостя за ворота (и только что в середину ворот вошла, то и поднята веревкою в вверх и повешенная кончила все радости своей жизни, а дом) и все сокровища ее достались в наследство благодетелю ее, *Емельяну*.

Поступок помещечьих крестьян: в уездах Саранском и Пензенском, в коих в прошедшие времена весьма мало имелось казенных селений, но все состояли в помещичьем владении, почему в бунт Пугачевский много в оных пострадало дворян. В сие несчастное время приехавший из Москвы в свои деревни бригадир Александр Вас. Салтыков, находясь в устроенном своем селе, узнав, что Пугачев с войском своим вступил в город Саранск, вздумал себя спасти и уехать в какое-нибудь тайное место и скрыться в оном, для сего и лошади были уже приготовлены; но мужики, крестьяне его, узнав о том, схватили его и связав, посадили в телегу и с несколькими верховыми повезли его стороною по Саранскому тракту, чтоб передать его в руки Пугачеву. Но святое Провидение спасло его; ибо крестьяне с связанным своим господином, вместо Пугачева, встретились с батальоном подполковника Муфеля, который освободил Салтыкова; а крестьян

забрав и пришед в село, как сих, так и прочих участников, строжайше наказал.

Выехав из Опочинок уже ночью, не могли мы видеть, что партия, бывшая в Опочинках, по тракту к Саранску, многие грабила селения, но с светом вдруг открылась перед глазами нашими картина ужаса, разорения и опустошения селений; ибо (пугачевская армия все, что на пути своем ни встречала, видела и обнять могла, убивала, грабила и расхищала подобно саранче; селения по тракту нашему были пусты) и в оных не находили мы ничего более, кроме престарелых людей мужеска и женска пола, а прочие все, кто только мог сесть на коня и идти добрыми шагами пешком с косами, пиками и всякого рода дубинами, присоединялись к пугачевской армии, к которой партия со 100 человеками казаков отряжена была в Опочинки—также с оною соединилась на Саранском тракте. (Тучные и изобильные поля сего края с готовым колосом оставались без трудолюбивого жателя в самое время жатвы; всякого рода скот без пастыря скитался по изобильным пашням днем и ночью, топтал оные, рыл хлеб и довершал тем гибель и бедственность поселянина; невероятное множество скитающихся лошадей, измученных в кровавых ранах и брошенных как от войска пугачевского, так и преследующего за ним корпуса, усыпал дорогу и пашни).

Но сколь ни велико было разорение и опустошение селений, представившиеся от Опочинок до Саранска, но что уж представилось взору нашему от сего города по тракту к Пензе, Петровску и до самого Саратова, то о том ни сердце мое, ни перо не в силах объяснить! Ни в одном селении по тракту нашему до (самой Царицинской крепости) саратовских колонистов, поселенных на нагорной стороне Волги; не могли мы иначе находить подвод и лошадей в опустошенных селениях, как принуждены были посылать гусар загонять табуны лошадей в селение, где уж ловили сих лошадей и запрягали в подводы, на которые сажали управлять оными таких стариков, кои имели еще силы владеть кое-как лошадьми с помощью гусар и гвардейских солдат...

П. Рунич.

ПУГАЧЕВИЩИНА И НАСТРОЕНИЕ ВОЙСК И НАРОДА.

В сие время, как он (Державин) стоял в доме помянутой госпожи его приятельницы ¹⁾, а к которой почасту приезжали из деревни с Ладожского канала ее люди, по которому каналу расположен был на зимних квартирах Володимерский гранодерский полк, то один из ее людей, проезжая рано поутру чрез селение, называемое Кибол, ночевал на постоялом дворе и слышал, когда укладывались гранодеры на ямские подводы для походу в Казань, что гранодеры ропчут, что вызвали их из армии для торжества при свадьбе великого князя Павла Петровича с великою княжною Натальею Алексеевной, как выше сказано, бывшей в сентябре месяце, и не дали им при таком торжестве ниже по чарке вина, а заставили бить сваи на реке Неве, как строилась дворцовая набережная; то они от такой худой жизни и положат ружья пред тем Царем, который, как слышно, появился в низовых краях, кто бы таков он ни был. Таковая болтовня низких людей хотя великого уважения не заслуживала, однако при обстоятельствах внутренней крамолы не должна была быть пропущена без замечания. Державин сие пересказал генералу Бибикову. Он сперва счел за вздор; но потом, одумавшись, велел к себе часу по полуночи во втором, когда все в городе угомонятся, представить человека, который слышал те разговоры. Сие исполнено. Он спрошен был, знает ли он имена тех гранодер, которые вышесказанные речи говорили; а как служитель отозвался, что он их не знает, а проездом слышал разговор, но в лицо их узнать не может; то Бибиков и не знал что делать; ибо уже полк с квартир выступил несколько дней, и как отправлен на почтовых, то и возвращать его было неудобно; а по незнанию имен заговорщиков, одних их потребовать было невозможно. В рассуждении чего был в недоумении; однако приказал Державину ввечеру к себе приезжать. По приезде сказал, что он с полковником того полку князем Одоевским говорил, но он уверял, что гранодеры с крайним усердием, как ему от ротных командиров донесено было, в поход выступили. Державин возразил: весьма бы было

¹⁾ Это было в Петербурге, в конце 1773 г. (сост.).

от стороны полковника и офицеров оплошно, ежели б они, слыша намерение к измене, не взяли надлежащих мер и ему не донесли, разве и сами были умышленники, но этого предполагать невозможно. Генерал замолчал; сказал, что хорошо: утро вечера мудренее. Опосле известно стало, что он тогда же писал секретно по дороге к губернаторам новгородскому, тверскому, московскому, володимерскому и нижегородскому, чтоб они, во время проходу полков в Казань мимо их губерний, а особливо гранодерского Владимирского, по дорожным кабакам приставили надежных людей, которые бы подслушивали, что служивые между собою говорят во время их попоек. Сие распоряжение имело свой успех: ибо по приезде в Казань получил он донесение от нижегородского губернатора Ступишина, что действительно между рядовыми солдатами существует заговор положить во время сражения пред бунтовщиками ружья; из которых главные схвачены, суждены и тогда же жестоко наказаны. Сие подало повод генералу взять предосторожность, о которой ниже увидим. Но возвратимся в Петербург.

Хотя Державин весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за три рубля, отправился в Москву, но генерал Бибииков перегнал его: пробыв несколько дней в Москве, приехал в Казань декабря 25-е число, то есть в самый день Рождества Христова. Прочие офицеры наперед уже приехавшие и открывшие по повелению генерала заседание Секретной Комиссии, по случаю тогда праздника, как люди достаточные, имевшие знакомых множество, а иные сродников, занялись разными увеселениями; но Державин пробыв с матерью уединенно в доме, старался от крестьян приезжих из деревнишек своих, которые лежали по тракту к Оренбургу, узнать о движениях неприятельских или о колебании народном: ибо известно было, что до приезда Бибиикова многие дворяне и граждане разъехались было из города, но с прибытием его паки возвратились. Собрав таковые, сколь можно пообстоятельнее, известия, 28-е число на вечер приехал к генералу, когда у него никого не было. Он, по обыкновению, спрашивал о новостях. Сей пересказал ему слышанное, что верстах уже в 60-ти разъезжают толпы вооруженных татар и всякая злодейская сволочь, присовокупя,

по чистосердечию и пылкости своей, собственные рассуждения, что надобно делать какие-нибудь движения, ибо от бездействия город находится в унынии. Генерал с сердцем возразил: „Я знаю это; но что делать? войски еще не пришли“ (которые из Польши, из бывших против конфедератов, и прочих отдаленных мест ожидаемы были). Державин смело повторил: „Как бы то ни было, есть ли войски или нет, но надобно действовать“. Генерал не говоря ни слова, схватил его за руку, повел в кабинет и там показал ему от Синбирского воеводы репорт, что 25-е число, то есть в Рождество Христово, толпа злодейская, под предводительством атамана Арапова,, взошла в город Самару и тамошними священнослужителями и гражданами встречена со крестами, со звоном, с хлебом и солью. Державин то же говорил: „Надобно действовать“. Генерал задумавшись ходил взад и вперед и потом, не говоря ни слова, отпустил его домой. Поутру рано слышит от полиции повестку, чтоб собирались в собор все граждане, и потом часу в 10-м позыв в большой соборный колокол. При великом стечении народа и всего знаменитого общества, читан был манифест, печатанный в Московской типографии церковною печатью, в котором объявлялось о наименовавшемся Императором Петром III-м Емельке Пугачеве и что генерал-аншефу Бибикову поручено истребление того бунта, и потому все команды, для того отправленные, военные и гражданские, и Секретная Комиссия, составленная из гвардии офицеров, отданы в полную власть его. По отслужении молебна об успехе оружия, приглашены были в квартиру главнокомандующего преосвященный Вениамин и все благородное собрание. Тут Бибиков, подойдя к Державину, тихо сказал: „Вы отправляетесь в Самару; возьмите сейчас в канцелярии бумаги и ступайте“. Выговоря это, смотрел пристально в глаза: может быть, хотел проникнуть, таков ли он рьян на деле, как на словах. Державин, сие приметя, сообразил, что неужели он его посылает прямо в руки злодеям, нашелся и отвечал: „Готов“. Взял в ту ж минуту из канцелярии запечатанные пакеты, которые надписаны по секрету, и велено было их открыть по удалении от Казани 30 верст. Простился с матерью, не сказав, куда едет; поскакал...

Проезжая по дороге, приметил в народе дух злоумышления, так что не хотели ему инде давать и лошадей, которых он, приставя иногда пистолет к горлу старосты, принужден был домогаться. Не доезжая до Симбирска верст 5-ти, приметил он поселян, с праздными повозками по продаже их продуктов из города едущих; желал от них узнать, не находится ли там каких команд наших или неприятельских: ибо легко и последние с 25-го по 30-е число, по весьма недалекому расстоянию от Самары, занять сей город могли; то и приказывал бывшему с ним и стоявшему на запятках человеку Блудову одного из мужиков остановить; но как он был человек весьма вялый и не проворный (ибо его собственные люди, скачучи из Петербурга, отбили ноги и занемогли), то и не мог сей разгильдяй исполнить ему повеленного. Для того он, положа человека в повозку на свое место, сам стал на запятки, и притворясь дремлющим, схватил внезапно одного мужика, которому сделав расспросы, узнал, что в Симбирске есть военные люди, но того никак не мог добиться, наши или неприятельские, и опасаясь, чтоб самому не въехать в руки последних, не знал что делать, тем паче когда услышал, что войски не в обыкновенных солдатских мундирах, а в русском платье и собирали по городу шубы; но заключал только потому, что не злодеи, когда узнал, что у всех солдат ружья с штыками, каковых у сволочи быть не могло; то и решился ехать в город. Это было уже часу в 10-м ночи. Воевода объявил, что подполковник Гринев с 22-й легкою полевой командою часа с два выступил из города по самарской дороге, для соединения с майором Муфелем с 24-ю командою, который чаятельно близ или уже вступил в Самару. Соединясь с Гриневым, следовали к сему городу. Нашли уже оный Муфелем занятым. Он имел с толпою Арапова по большей части состоящей из Ставропольских Калмыков и отставных солдат, сражение. У него убито ядром из поставленных на берегу пушек драгун только 3 человека; но он побил множество, взял 9 городских чугунных пушек, выгнал из Самары и прогнал в город Алексеевск, лежащий от Самары в 25-ти верстах, злодейскую толпу, которая была в нескольких тысячах...

Сентябрь. (1774 г.) Приехав в Малыковку, ¹⁾ нашел оную в крайнем беспокойстве по причине в ней причиненных злодеями бедствий. Когда он, будучи в Шафгаузене, получил от егеря известие, что по завладении Саратова, отражена толпа его сыскивать и уже приближалась, то он послал повеление в Малыковку к бывшему там экономическому казначею Тишину, дворцовому управителю Шмиковскому и к унтер-офицеру саратовских артиллерийских рот с 20-ю фузелерами, бывшими у него на карауле, чтоб они, поелику уже Саратов злодеями занят и могут они свободно напасть и на Малыковку, то чтоб помянутые чиновники и унтер-офицер старались спасти дворцовую и экономическую казну и его секретные бумаги: удалясь на какой-либо на Волге близ находящийся островок, окопались и засели там, а в случае нападения, оборонялись бы до прихода наших войск. Они точно то исполнили, взяв с собою жен и именитых надежных поселян; детей же своих малолетних экономическая казначейша Тишина, опасаясь, что они будут в сокрытии на острове плакать и злодеи услышат,—нарядя в крестьянские замаранные рубашенки, оставила с их кормилицею и нянькою у надежных крестьян. На другой день рано, приехав из разбойников двое, объявили, что они из армии Батюшки; народ вмиг сбежался, принял их с радостью, и они так напились, что легли близ кружала в растяжку. Обыватели поставили вокруг их караул, и ночь прошла в глубокой тишине и спокойствии. Г-жа Тишина скучилась по детях, и по великому в селе безмолвию подумала, что в оном из неприятелей никого нет; уговорила мужа на утренней заре съездить и посмотреть детей. Сели в лодку, заклались травою и с помощью двух гребцов и кормщика благополучно пристали к берегу. Тут кормщик, изменя сказав о них злодеям, едва с похмеля проснувшись. Они тотчас схватили мужа и жену, мучили и, неистово наругавшись над нею, допросились о детях, которых едва сыскали и принесли, то схватя за ноги, размозжили об угол головы младенцам; казначея и казначейшу, раздев, повесили на мачтах и потом, расстреляв уехали.

¹⁾ Потом город Вольск Саратов. губ. (сост.).

А как после того никаких скопищ злодейских в Малыковку не приезжало, то унтер-офицер с солдатами из засады выехали, казну и письменные дела уложили в свои места. Но как слышно стало, что Державин от Голицына идет с командою, то обыватели, чувствуя свою вину, что двум пьяным бездельникам учинили предательство, схватили тех варваров, которые погубили с семейством Тишина, посадили под караул. Державин не медля учинил им допрос и нашел, что 4 человека главные были из изменников, из коих один укрылся; то остальных, по данной ему от генералитета власти, определил на смерть; а чтоб больше утратить колеблющую чернь и привести в повиновение, приказал на другой день в назначенном часу всем обывателям, мужескому и женскому полу, выходить на лежащую близ самого села Соколову гору; священнослужителям от всех церквей, которых было семь, облачиться в ризы; на злодеев, приговоренных к смерти, надеть саваны. Заряженную пушку картечами и фузелером 20 человек при унтер-офицере поставил задом к крутому берегу Волги, на который взойти было трудно. Гусарам приказал с обнаженными саблями разъезжать около селения и не пускать никого из оногo, с приказанием, кто будет бежать, тех не щадя рубить. Учредя таким образом, повел с зажженными свечами и с колокольным звоном чрез все село преступников на место казни. Сие так сбежавшийся народ со всего села и из окружных деревень утратило, что хотя было их несколько тысяч, но такая была тишина, что не смел никто рта разинуть. Сим воспользуясь, сказанных главнейших злодеев, прочтя приговор, приказал повесить, и 200 человек бывших на иргизском карауле, которые его хотели поймав отвести к Пугачеву, пересечь плетьюми. Сие все совершали и, самую должность палачей, не иные кто, как те же поселяне, которые были обвиняемы в измене. Державин только расхаживал между ими и причитывал, чтоб они впредь верны были Государыне, которой присягали. Народ весь, ставши на колени, кричал: „виноваты“ и рады служить верою и правдою...

Г. Державин.

ПОИМКА ПУГАЧЕВА.

Подъезжая к сему городу Симбирску рано поутру, при выезде из подгородных слобод, встретил сего пышного генерала, с великим поездом едущего на охоту¹⁾.. Поелику же он, по осеннему холодному времени, сверх мундира был в простом тулупе, то и не хотел в сем беспорядке ему показаться: уклонился с дороги и, по миновании свиты, приехал в Симбирск. Там нашел князя Голицына, который чрезвычайно удивился, увидя, что маленький офицер приехал сам собою, так сказать, на вольную страсть, к раздраженному, гордому и полномочному начальнику²⁾. „Как“, спросил он: „вы здесь, зачем?“ Державин отвечал, что едет в Казань по предписанию Потемкина, рассудил главнокомандующему засвидетельствовать свое почтение. „Да знаете ли вы“, возразил князь, „что он недели две публично за столом более не говорил ничего, как дожидает от Государыни повеления повесить вас вместе с Пугачевым?“ Державин отвечал: ежели он виноват, то от гнева царского никуда уйти не может. „Хорошо“, сказал князь: „но я, вас любя, не советую к нему являться, а поезжайте в Казань к Потемкину и ищите его покровительства“.— „Нет я хочу видеть графа“, ответствовал Державин—В продолжении таких и прочих разговоров наступил вечер; и скоро сказали, что граф с охоты приехал. Пошли в главную квартиру. Державин, вошедши в комнату, подошел к графу и объявил, кто он таков и что, проезжая мимо по предписанию генерала Потемкина, заехал к его сиятельству засвидетельствовать его почтение. Граф ничего другого не говоря, спросил гордо: видел ли он Пугачева? Державин с почтением: „Видел на коне под Петровским“. Граф отворотясь к Михельсону: „Прикажи привести Емельку“. Через несколько минут представлен самозванец в тяжких оковах по рукам и по ногам, в замасленном, поношенном, скверном широком тулупе. Лишь

¹⁾ Т. е. гр. П. П. Панина, главнокомандующего всеми войсками в то время (сост.).

²⁾ Панин подозревал Державина в намерении переслать в Петербург донесение о поимке Пугачева через Потемкина раньше, чем это успеет сделать Панин (сост.).

пришел, то и встал пред графом на колени. Лицом он был кругловат, волосы и борода окомелком, черные, склоченные, росту среднего, глаза большие, черные на соловом глазуре как на бельмах. Отроду 35 или 40 лет. Граф спросил: „Здоров ли Емелька?“— „Ночей не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство“.— „Надейся на милосердие Государыни“, и сим словом приказал его отвести обратно туды, где содержался. Сие было сделано для того, сколько по обстоятельствам догадаться можно было, что граф весьма превозносился тем, что самозванец у него в руках, и, велев его представить, хотел как бы тем укорить Державина, что он со всеми своими усилиями и ревностью не поймал сего злодея...

Г. Державин.

КАЗНЬ ПУГАЧЕВА.

I.

Москва вся занималась в сие время одним только Пугачевым. Сей изверг был уже тогда в нее привезен, содержался окованной на цепях, и вся Москва съезжалась тогда смотреть сего злодея, как некоего чудовища, и говорила об нем. Над ним, как над государственным преступником, производился тогда, по повелению императрицы, формальной и важнейшей государственной суд и все не сумневались, что он казнен будет.

Кроме сего достопамятно было, что в самое сие время производилось в Москве с превеликим поспешением строение, на Пречистенке, временного огромного дворца для пребывания императрицы. Ибо как она намерена была прибыть в Москву для торжествования мира с турками, а головинской дворец, в котором она до того времени жила, во время чумы сгорел и ей жить было негде, то и приказала она построить для себя дворец на скорую руку. Почему, несмотря на всю стужу и зимнее тогдашнее время, и производилось строение сие с великим поспешением и тысячи рук занимались оным денно и ночью.

Как скоро я все свои дела кончил, то ни мало не медля, севши поутру в свою кибитку, поскакал я домой; но не успел поравняться при выезде из Москвы с последнею заставою,

как увидел меня стоявший на ней знакомый офицер г. Обухов и закричал; „Ба! ба! ба! Андрей Тимофеевич, да куда ты едешь?“— „Назад, в свое место“, сказал я.— „Да как это, братец, уезжаешь ты от такого праздника, к которому люди пешком ходят?“— „От какого такого?“ (спросил я).— „Как, разве ты не знаешь, что сегодня станут казнить Пугачева, и не более как часа через два? Остановись сударь, это стоит любопытства посмотреть“.— „Что ты говоришь? (воскликнул я); но, эх, какая беда! Хотелось бы мне и самому это видеть, но как я уже собрался и выехал, то ворочаться опять не хочется“.

— „Да на что и зачем ворочаться; вот я сейчас туда еду, так поедем вместе со мной в санях моих, а кибитка пускай здесь у меня на дворе постоит и тебя дождетя“.— „Очень хорошо, братец“, (сказал я). и ну скорее вылезать из кибитки, иттить к нему в квартиру и на скорую руку оправляться, а через несколько минут мы с ним, севши в сани, и полетели действительно на Болото ¹⁾, как место назначенное для сей казни.

Мы нашли уже всю площадь на Болоте и всю дорогу на нее, от Каменного. Моста, установленную бесчисленным множеством народа. Я неведомо как рад был, что случился со мною такой товарищ, которого все полицейские знали и которому все там коротко было известно. Он, подхватя меня, не бегал, а летал со мною, совался всюду, для приискивания удобнейшего места для смотрения. И мы вскоре за сим увидели молодца, везомого на превысокой колеснице в сопровождении многочисленного конвоя из конных войск. Сидел он с кем-то рядом, а против его сидел поп. Повозка была устроена каким-то особым образом и совсем открытая, дабы весь народ мог сего злодея видеть. Все смотрели на него пожирающими глазами и тихой шопот и гул оттого раздавался в народе. Но нам некогда было долго смотреть на сие шествие, производимое очень медленно, а мы, посмотрев несколько минут, спешили бежать к самому эшафоту, дабы захватить для себя удобнейшее место для смотрения. Весь оной в некотором и нарочито великом отда-

¹⁾ Местность вблизи Кремля, на берегу Москвы-реки (сост.).

лении окружен был сомкнутым тесно фронтом войск, поставленных тут с заряженными ружьями, и внутри сего обширного круга непускаемо было никого из подлого народа. Но товарища моего, как знакомого и известного человека, а при нем и меня, пропускали без задержания, к тому-ж мы были дворяне, а дворян и господ пропускали всех без остановки; и как их набралось тут превеликое множество, то судя по тому, что Пугачев наиболее против их восставал, то и можно было происшествие и зрелище тогдашнее почесть и назвать истинным торжеством дворян над сим общим их врагом и злодеем.

Нам с господином Обуховым удалось, протеснившись сквозь толпу господ, пробраться к самому эшафоту и стать от него не более как сажени на три, и с самой той восточной стороны оного, где Пугачев должен был на эшафоте стоять для выслушивания читаемого ему всего сенатского приговора и сентенции. Итак, имели мы наивыгоднейшее и самое лучшее место для смотрения, и покуда его довели, довольно времени для обозрения эшафота и всего окружающего оного, довольно еще просторного порожнего внутри круга. Эшафот воздвигнут был посреди оного, четверосторонний, вышиною аршин четырех и обитой снаружи со всех сторон тесом, и с довольно просторным наверху помостом, окруженным балюстрадой. Выход на него сделан был только с одной южной стороны по лестнице. Посреди самого сего помоста воздвигнут был столб, с воздетым на него колесом, а на конце утвержденным на него железною острою спицею. Вокруг эшафота сего в расстоянии сажень на двадцать поставлено было кругом и со всех сторон несколько виселиц не выше также аршин четырех или еще ниже, с висящими на них петлями и приставленными лесенками. Мы увидели подле каждой из них приготовленных уже палачей и самых узников, назначенных для казни, держимых тут стражами. А таким же образом лежали некоторые и другие из их злодейского общества, скованные, при подножии самого эшафота. Не успела колесница подъехать с злодеем к эшафоту, как схватили его с ней и взведя по лестнице на верх оного, поставили на краю восточного его бока, против самых

нас. В один миг наполнился тогда весь помост множеством палачей, узников и к ним приставов, ибо все наилучшие его наперсники и друзья должныствовали жизнь свою кончить вместе с ним на эшафоте, почему и приготовлены уже были на всех углах и сторонах оного плахи с топорами. Подле самого-ж Емельки Пугачева явился тотча секретарь, с сенатским определением в руках, а пред ним внизу и подле самых нас, на лошади верхом, бывший тогда обер-полицеймейстером г. Архаров.

Как скоро все установилось, то и началось чтение сентенции. Мы стояли подле самого г. Архарова, и так близко, что могли что-то от слова до слова слышать. Но нас занимало не столько слушание читаемого, как самое зрение на осужденного злодея. И как громогласное и расстановочное чтение продлилось очень долго, ибо в определении сенатском прописаны были все его и сообщников его злодеяния, и подведены были все законы, по силе которых должен он был предан быть казни, то имели мы время насмотреться на сего изверга. Он стоял в длинном нагольном тулупе, почти в онемении и сам вне себя, и только что крестился и молился. Вид и образ показался мне совсем несоответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг. Он походил не столько на зверообразного какого-нибудь лютого разбойника, как на какого-либо маркитантишка или харчевника плюгавого. Бородка небольшая, волосы всклоченные и весь вид ничего незначащий и столь мало похожий на покойного императора Петра Третьего, которого случалось мне так много раз и так близко видеть, что я, смотря на него, сам себе несколько раз в мыслях говорил: „Боже мой! до какого ослепления могла дойти наша глупая и легковверная чернь, и как можно было сквернавца сего почесть Петром Третьим!“ Между тем, как ни пристально мы на него смотрели, однако успели оглянуться и назад на стоящие вокруг эшафота виселицы. На них увидели мы всех осужденных к смерти, взведенных на лестницы с надетыми на головы их тюриками и с возложенными на шеи их уже петлями, а палачей державших их и готовых при первом знаке столкнуть их с лестницы. И как назначено было им в одну секунду умереть с своим начальником, то по самому тому и

не могли мы видеть самое произведение их казни, которую, как думаю, и никто не видал, ибо всех глаза устремлены были на эшафот и на Пугачева.

Как скоро окончили чтение, то тотчас сдернули с осужденного на смерть злодея его тулуп и все с него платье, и стали класть на плаху для обрубания, в силу сентенции, наперед у него рук и ног, а потом и головы. Были многие в народе, которые думали, что не воспоследует ли милостивого указа и ему прощения, и бездельники того желали, а все добрые того опасались. Но опасение сие было напрасное: преступление его было не так мало, чтоб достоин он был какого помилования; к тому-ж и императрица не хотела сама и мешаться в это дело, а предала оное в полное самовластное решение сената; итак, должен он был неотменно получить достойную мзду за все его злодейства. Со всем тем произошло при казни его нечто странное и неожиданное, и вместо того, чтоб, в силу сентенции, наперед его четвертовать и отрубить ему руки и ноги, палач вдруг отрубил ему прежде всего голову, и Богу уже известно, каким образом это сделалось: ни то палач был к тому от злодеев подкуплен чтоб он не дал ему долго мучиться, ни то произошло от действительной ошибки и смятения палача, никогда еще в жизнь свою смертной казни не производившего; но как бы то ни было, но мы услышали только, что стоявший там подле самого его какой-то чиновник вдруг на палача с сердцем закричал: „Ах, сукин сын! что ты это сделал!“ и потом: „ну, скорее—руки и ноги“. В самой тот момент пошла стукотня и на прочих плахах, и в миг после того очутилась голова г. Пугачева, воткнутая на железную спицу на верху столба, а отрубленные его члены и крвавой труп, лежащий на колесе. А в самую ту-ж минуту столкнуты были с лестниц и все висельники, так что мы, оглянувшись, увидели их всех висящими и лестницы отнятые прочь. Превеликой гул от аханья и многого восклицания раздался тогда по всему несчетному множеству народа, смотревшего на сие редкое необыкновенное зрелище.

Сим образом совершилась сия казнь, и кончилось сие кровавое и странное позорище. Надлежало потом все части

трупа сего изверга развозить по разным частям города и там сожигать их на местах назначенных, а потом прах рассеивать по воздуху. Но мы сего уже не видали, но как народ начал тогда тотчас расходиться, то пошли и мы отыскивать свои сани и возвратились на них к заставе, где отобедав у своего знакомого и простившись с ним, пустился я в свой путь в Киясовку с головою, преисполненною мыслями и воображениями виденного, редкого и необыкновенного у нас зрелища и весьма поразительного, и на другой день к обеду возвратился к своим домашним.....

А. Болотов.

II.

Оренбургской губернии в казацком городке Яике, прозванном потом Уральском появился донской казак прозвищем Пугачев, под именем бывшего императора Петра Третьего. Он собрал нарочитое войско из тамошних казаков, всякой сволочи и распространил ужас по всему краю. По случаю войны с Оттоманскою Портою, почти все линейные полки были за границею. Комендант наш полковник Чернышев тотчас получил повеление, соединясь с двумя ротами второго гренадерского полка, стоявшего в Казани, с гарнизонным батальоном своим выступить против злодея.

Симбирск еще не унывал, ожидая последствия похода, но вскоре поражен был известием, что чрез худое распоряжение коменданта весь батальон и гренадерские роты принуждены были сдаться мятежникам, а комендант, начальник гренадерских рот майор Иванов и все офицеры были повешены. За этим весть за вестью, одна другой ужаснее. Пугачев уже подходил к Оренбургу; так называемые крепостцы, огороженные тыном, уступали многолюдству; коменданты и офицеры в них предавались мучительной казни. Та же участь постигла и всех дворян, попадавших в руки бунтовщиков. Наконец самые крестьяне, обыкновенные игралища хитрого обольщения, откладывались от своих помещиков. Эта зараза коснулась пензенской провинции и уже близка была к симбирской. Везде волнение, грабеж и кровопролитие. Все наше

дворянство из городов и поместьев помчались искать себе спасения: каждый скакал туда, где думал быть безопаснее. Так и отец мой со всем своим семейством отправился в Москву. Собравшись наскоро, он только что мог доехать до места с теми деньгами, которые на тот раз в наличности у него были. С первых дней приезда уже он начал хлопотать о займе, не имея в столице почти никого знакомых, кроме земляков, таких же изгнанников, кои сами нуждались.

В столь тесных обстоятельствах отцу моему, конечно, было не до того, чтоб думать о продолжении нашего учения...

Но я недолго и в ней пробыл. Самозванец Пугачев опять усилился. Он уже истребил многие дворянские семейства в пензенской провинции; вступил в Казань, разорил ее и всю выжег. Многие из обывателей преданы были смерти, в том числе и слепой, столетний старец, отставной генерал-майор Нефед Никитич Кудрявцев. Злодеи ворвались в монастырь, нашли его сидящим подле раки с мощами святого угодника. Одна только крепость, хотя и без правильных укреплений, спасла губернатора фон-Брандта и несколько дворянских семейств. Пугачев не имел времени овладеть ею. Он спешил оставить дымящийся город, узнав о приближении кавалерийского полковника Михельсона. Этот проворный и неустрашимый воин везде преследовал его с передовым конным отрядом и наносил ему более всех вреда и страха.

Мы поражены были этим известием: полагали, что и Симбирск, отстоящий только во сто семидесяти верстах от Казани, не миновал равного жребия; к счастью нашему вскоре потом порадованы были письмом от родителей. Видя близкую опасность, они вторично расстались со своею отчизною и прибыли в Москву. Но счастливый Симбирск увидел Пугачева уже не с грозным мечем, но в позорных оковах. Войска наши, под распоряжением Суворова, бывшего тогда генералом-майором, разбили его под Черным-Яром, остатки толпищ загнали в степь и при урочище Узени заградили ему путь к получению съестных припасов. Мятежники, устрашась изнурения голодом, начали разбегаться. Девятеро из урядников самозванца сковали ему руки и ноги и представили его коменданту Яицкой крепости. Суворов

переслал его в Симбирск, откуда начальник армии, граф Петр Иванович Панин отправил его в Москву, под прикрытием многочисленного отряда...

В скором времени по прибытии нашем в Москву я увидел позорище, для всех чрезвычайное, для меня же и новое: смертную казнь. Жребий Пугачева решился. Он осужден на четвертование. Место казни было на так называемом Болоте.

В целом городе, на улицах, в домах, только и было речей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали быть в числе зрителей; но мать моя долго на то не соглашалась. По убеждению одного из наших родственников, она вверила нас ему под строгим наказом, чтобы мы ни на шаг от него не отходили.

Это просшествие так врезалось в память мою, что я надеюсь и теперь с возможною верностью описать его, по крайней мере, как оно мне тогда представлялось.

В десятый день января тысяча семьсот семьдесят пятого года, в восемь или девять часов по полуночи приехали мы на Болото; на середине его воздвигнут был эшафот или лобное место, вокруг коего построены были пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб, по причине жестокого мороза. Тут же находился и обер-полицеймейстер Н. П. Архаров, окруженный своими чиновниками и ординарцами. На высоте, или помосте лобного места увидел я с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади фронта все пространство Болота, или лучше сказать, низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее, усеяны были людьми обоого пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок. Вдруг все заколебалось, и с шумом заговорило: везут, везут! Вскоре появился отряд кирасир, за ними необыкновенной величины сани, и в них сидел Пугачев; насупротив духовник его и еще какой-то чиновник, вероятно секретарь Тайной Экспедиции. За санями следовал еще отряд конницы.

Пугачев, с непокрытою головою, кланялся на обе стороны, пока везли его. Я не заметил в лице его ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет; роста среднего, лицом смугл.

и бледен; глаза его сверкали; нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные и небольшую бороду клином.

Сани остановились против крыльца лобного места, Пугачев и любимец его Перфильев, в препровождении духовника и двух чиновников, едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово „на караул“, и один из чиновников начал читать манифест; почти каждое слово до меня доходило.

При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицей-местер спрашивал его громко: „ты ли донской казак Емелька Пугачев?“ Он отвечал столь же громко: „Так, государь, я донской казак, Зимовейской станицы, Емелька Пугачев“. Потом во все продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился; между тем сподвижник его Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой, и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота; читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знаменем несколько земных поклонов, обратясь к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: „Прости, народ православный; отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою; прости народ православный!“—При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп; стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтаныя. Тогда он всплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул ее за волосы. С Перфильевым последовало то же.

Не утаю, что я при этом случае заметил в себе что-то похожее на притворство и сам осуждал себя; как скоро Пугачев готов был повалиться на плаху, брат мой отворотился, чтобы не видеть взмаха топора: чувствительное сердце его не могло выносить такого позорища. Я притворно показывал то же расположение; но между тем, украдкой, ловил каждое движение преступника. Чтож этому было причиною? Конечно не жестокость моя, но единственно желание видеть каковым бывает человек в толь решительную ужасную минуту?

Вскоре после этого происшествия последовало торжественное вшествие в Москву победительницы внешних и внутренних врагов своих. С прибытием двора, день от дня, более стало прибывать иногороднего дворянства; роскошь удвоилась, промышленность усилила свою деятельность; в обществе начались непрерывные праздники, а при дворе приготовление к великолепному торжествованию славного мира с Оттоманскою Портою; но я не имел удовольствия быть зрителем народного пира на Ходынке, ни входа победителя и миротворца графа Румянцева-Задунайского в триумфальные ворота, нарочно для него устроенные. По крайней мере не стыжусь и теперь с поэтическим участием повторить последнее двоестишие из послания поднесенного на этот случай знаменитому полководцу, столь несправедливо забытым ныне, Петровым. Вот как сильно и кратко изобразил поэт могущество Екатерины:

„Речет: да гибнет враг—и сходит быстро месть!
Да грянет гром—гремит! да будет мир—и есть“...

И. Дмитриев.

Указатель авторов*).

(В порядке помещения отрывков).

Толубеев, Н. — провинциал-дворянин из Орловской губ. не имел почти никакого образования; служил в казенной палате, потом в военной службе, участвовал в войне 1807 г.; оставил после себя „Записки“ (Спб. 1889 г.).

Дримпельман, Э. В. (р. 1758 — 1830 г.) — немец — врач, переселился в Россию в 1779 г.; служил в Кронштадте, потом на юге, в Новороссии, и под конец жизни в Риге, где и написал свои „Записки немецкого врача о России в конце прошлого века“.

Дмитриев И. И. (р. 1760 — 1837) — известный поэт; при Александре I был министром юстиции (1810 — 1814 г. г.); оставил записки „Взгляд на мою жизнь“ (1768 — 1819 г.). 3 ч., М. 1866 г. и много других сочинений.

Пишчевич, А. С. — родом серб; его отец переселился в Россию в 1753 г. (он оставил записки „Известия о похождениях“, М. 1883 г.); служил в драгунах, участвовал в нескольких походах (на Крым, в войнах на Кавказе и проч.); при Павле перешел в гражданскую службу. Его записки „Жизнь, им самим описанная“, 3 ч. М. 1885 г. охватывают 1764 — 1798 г. г.

Додрынин, Г. — (р. 1752 — 1823) — происходил из духовного звания; сначала служил при архиереях Северской епархии,

*) Здесь помещены только те авторы, которых не было в I и II частях „Русского Быта“ (сост.).

а потом гражданским чиновником в Белоруссии. Его „Истинное повествование“ (Спб. 3 ч., 1872 г.) особенно важно для характеристики быта духовенства.

Мигрин, И. И. (род. 1770 ум. около 1850)—уроженец Полт. губ., сынпоручика И. В. Мигрина; образование получил у сельского дьячка; служил в земском суде, потом в черноморском войске, в чине капитана вышел в отставку.

Панин, П. П. граф (р. 1721—1789)—генерал-аншеф и государств. деятель времен Екатерины II; участник важнейших войн середины XVIII в. и усмирения Пугачевского бунта.

Мертваго, Д. Б. (р. 1760—1824)—сын дворянина Симбирской губ.; с 22 лет служил в Уфе, потом в разных местах в провиантском ведомстве; в 1807 г. был назначен генерал-провиантмейстером и находился в ближайшем подчинении у Аркачеева, о котором не мало говорит в своих „Записках“ (М. 1867 г. или „Р. Архив“, 1867 г. № 8—9). Был близок к Державину.

Рунин, П. С. (р. 1747—1825)—сын выходца из Венгрии, переселившегося в Россию при Елизавете; воспитывался в сухоп. шляхетском корпусе. Сопровождал арестованного Пугачева в Москву и описал потом все, что ему стало известно о Пугачеве в „Записках о Пугачевском бунте“. Потом был губернатором в Вятке и Владимире, и затем сенатором.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Отдел 2-й (1762—1796 г. г.).

СТОЛИЦА и ПРОВИНЦИЯ.

<i>Предисловие.</i>	<i>Стр.</i>
Петербург.—граф Л. Ф. Сегюр. „Записки“	7
В Петербурге—Виже Лебрэн. „В России 1795—1801 г.“ „Др. и Нов. Россия“ 1876 г. т. III.	9
Провинциал в Петербурге—А. Т. Болотов. Записки т. IV	16
Вид Москвы в 1778 г.—У. Кокс. „Россия 100 лет назад“ „Р. Старина“. 1877 г. I—IV	19
Размышление о Москве и Петербурге.—Имп. Екатерина II. „Записки“	21
В Москве—Виже Лебрэн (см. выше).	23
„ Ф. Казанова. „Записки венецианца о пре- бывании в России 1765—6 г. г.“ „Р. Старина“ 1874 г., III.	26
Москва и ее общество в 1774 г.—Белькур. „Др. и нов. Россия“. 1875 г. т. III.	28
В Москве августа 16 дня 1772 г.—Прибавл. к № 78 „М. Вед.“ за 1772 г.	30
Путешествие по России.—А. Т. Болотов. „Записки“ т. IV.	33
Путешествие по южной степи.—Э. Дримпельман. „За- писки немецкого врача о России“. „Р. Архив“ 1881 г. т. I.	34
Из Киева в Москву.—Ф. Ф. Вигель. „Записки“, т. I.	36
Новгородская деревня.—С. Н. Глинка.—„Записки“ . .	37
Нравы в Малороссии в середине XVIII в.—Г. Винский „Моё время. Записки малоросиянина“	40

	<i>Стр.</i>
Новые города и Петербург—К. М а с с о н. (см. 2-ю часть „Р. Быта“).	42
Киев—Ф. В и г е л ь (см. выше).	44
Жизнь в провинции.—И. И. Д м и т р и е в. „Взгляд на мою жизнь“.	49
Пенза—Ф. В и г е л ь (см. выше).	51
Николаев в 1788 г.—Э. Д р и м п е л ь м а н (см. выше).	52
Чума в Херсоне.—Его-же.	55
Чума в Москве. (Донесение Саблукова). „Р. Архив“ 1866 г.	59

РЕФОРМЫ И ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ.

Первые меры Екатерины II.—Имп. Екатерина II. „Записки“.	64
Комиссия 1767 года.—А. А. Б и б и к о в. „Записки о жизни и службе А. И. Бибикова (1729—1774 г.)“.	70
Открытие Тульского наместничества.—А. Т. Б о л о т о в. „Записки“ т. III.	77
Открытие города.—Г. Р. Д е р ж а в и н. „Записки“	82
Введение нового городского положения.—„Моск. Вед“. 1772 г. № 69.	83
В саратовском наместничестве.—А. С. П и ш ч е в и ч. „Жизнь им самим описанная“. (1764—1798 г.)	85
Преподавательства чиновников.—Г. Р. Д е р ж а в и н (см. выше).	87
Державин—губернатор в Тамбове.—Его-же	90
Бюрократия при Екатерине II.—К. М а с с о н (см. выше)	95
Дело откупщика Логинова и банкира Сутерланда.—Г. Р. Державина (см. выше)	98
воевода при Екатерине II.—М. А. Д м и т р и е в. „Мелочи из запаса моей памяти“.	101
Водочная суматоха—Г. Д о б р ы н и н „Истинное повествование“	102
Сплав казенного леса—Его-же.	110
Черноморье при Екатерине II.—„Р. „Стар.“ 1878 г. № 9. И. Мигрин „Похождение или история жизни черноморского казака“.	114

АРМИЯ.

Как наживались эскадронные командиры А. С. Пищевич (см. выше)	120
Происшествие с пленными.—Его-же	121
Жизнь офицера в лагере.—С. Н. Глинка „Записки“	122
Русский солдат в походе.—А. С. Пищевич. (см. выше).	124
Полковые нравы.—Его-же.	126
Служба мальчиков в армии.—Ф. Ф. Вигель. (см. выше)	127
Войско.—С. А. Тучков—„Записки“	128

КРЕСТЬЯНЕ и НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ.

Зверства помещиков.—А. Т. Болотов.—„Записки“ т. II.	133
Истязание крепостных.—Его-же. „Записки“ т. IV.	134
Современное письмо о Салтычихе.—„Осьмнадцатый век“, кн. 4.	137
Однодворцы.—А. Т. Болотов. „Записки“ т. IV.	138
Год крестьянина.—Н. Толубеев. „Записки“	139
Бунты заводских крестьян в Казанской и Сибирских губерниях—А. Бибииков. (см. выше).	156
Усмирение крестьян Псковской губернии. С. А. Тучков (см. выше).	158
Чумный мятеж в Москве. 1.—А. Т. Болотов „Записки“ т. III.	163
„ „ „ 2.—Имп. Екатерина II. Письмо к А. И. Бибиикову.— „Записки А. И. Бибиикова“. (см. выше).	178

ИЗ ПЕРЕПИСКИ о ПУГАЧЕВСКОМ БУНТЕ.

1. Отрывки из писем имп. Екатерины II к Я. Е. Сиверсу.—„Записки А. Бибиикова“.	180
2.— „ переписки имп. Екатерины II с Вольтером	181
3.—Из писем к Н. С. Бибииковой от А. И. Бибиикова	183
4.—Письмо гр. П. И. Панина к брату.—„Р. Архив“ 1876 г. № 48	185

	<i>Стр.</i>
5.—Письмо гр. П. И. Панина к кн. М. Н. Волконскому „Москвитянин“ 1841 г. т. II.	186
6—Из письма С. Долгорукова к Ф. Ахматову Оттуда же.	187
Пугачевский бунт.—Д. Мертваго. „Записки“	189
Отклики пугачевского бунта в Москве.—1. Белькур. „Старая и новая Россия“. 1875 г. т. III.	205
2 А. Т. Болотов „Записки“ т. III.	206
Пугачевский бунт в Тамбовском крае.—П. С. Рунич. „Записки о Пугачевском бунте“. Р. Старина“ 1870 г. № 8.	208
Пугачевщина и настроение в войске. Г. Р. Державин (см. выше).	216
Поимка Пугачева.—Его же	222
Казнь Пугачева.—1. А. Т. Болотов „Записки“ т. III.	223
„ 2. И. И. Дмитриев. (см. выше)	228
Указатель авторов.	233

Кооперативное Т-во „ЗАДРУГА“.

МОСКВА, Воздвиженка, Крестовоздвиженский пер., 9.
Книжный магазин—Моховая, 20.

Новые издания 1922 года:

- Аптекман, О. В.—Глеб Успенский. VIII—174 стр.
- Бильмонт, К. Д.—Поэзия как волшебство. 112 стр.
- Батюшков, Ф. Д.—Короленко В. Г. Как человек и писатель—124 стр.,
с рисунк.
- Дейч, Л. Г.—За полвека. Том I-й. 126 стр.
- Дрентельн, Н. С.—Воздух, вода, тепло. Физические опыты для начальн.
преподавания. С 20-ю рисунками. 32 стр.
- Каррик, В. В.—Сказки—картинки. С рисунками. 12 книжек по 16 стр.
- Козловский, Л. С.—Короленко В. Г. Опыты литературной характери-
стики. 63 стр.
- Короленко, В. Г.—Очерки и рассказы. Т. V (Огоньки. Государевы ямщики.
Последний луч. Марусина заимка). 146 стр.
- ” Очерки и рассказы. Т. VI (Сказание о Флоре. Пара-
докс. Мороз. Мгновение. В облачный день). 142 стр.
- ” История моего современника. Т. III (Лесная глушь.
Вышневолоцкая политическая тюрьма. В Перми. По
пути в Якутскую область. В иркутской тюрьме. 339 стр.
- Памяти В. Г. Короленко. Сборник статей А. и Е. Редько, А. Г. Горн-
фельда, К. М. Мендельсона, А. А. Кизеветтера,
В. Н. Фигнер, Н. Н. Полянского, А. Б. Петри-
щева, В. А. Розенберга, В. К. Хорошко, Б. Д.
Федорова, В. А. Мякотина, С портретом и тремя
рисунками. 134 стр.
- Румянцев, Н. Е.—Психологические основы трудового воспитания. Лекции
по педагогической психологии. 216 стр.
- Семевский, В. И.—Буташевич—Петрашевский, М. В. и Петрашевцы.
Ч. I-я под редакц. В. В. Водовозова. XVI—217 стр.
- Соловьев, В. С.—Шуточные пьесы. (Альсим. Белая Лилия. Я говорил, что
он не умет есть. Дворянский бунт). 83 стр.
- Фигнер, В. Н.—Запечатленный труд. Т. I. VII—348 стр.
- Шуберт, А. М.—Краткое описание и характеристика методов исследования
умственной одаренности детей. С предисл. проф. Г. И.
Россолимо. 68 стр.
-